

*Анатолій Маркуша*

ДОРОГЕ



НЕТ



КОНЦА

Детгиз



Анатомий Маркуша

**ДОРОГЕ**

р а с с к а з ы

**НЕТ**

**КОНЦА**



И  
К  
Н  
И  
У  
К  
Р  
И  
А.

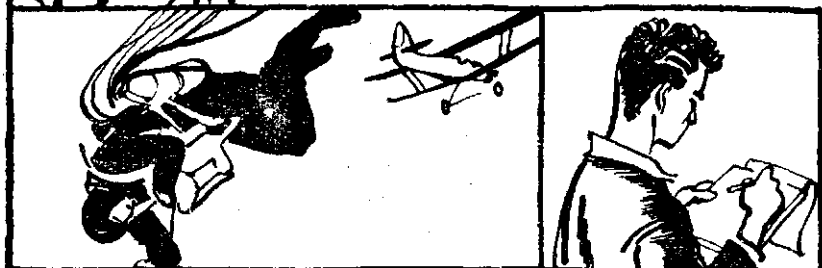
Государственное Издательство  
Детской Литературы  
Министерства Просвещения РСФСР  
Москва 1963

*Великое дело - дороги и встречи.*

*Двадцать пять лет я в пути: земля, небо, море, горы, пустыня, и всюду — человек, всюду — люди! Люди, для которых сияет солнце и поют веселые птицы и улыбаются пушистые облака; люди, которых нельзя остановить, согнуть, уничтожить, потому что они в дороге, ведущей в будущее, а такой дороге нет и не может быть конца...*

*Вот обо всем этом я и старался рассказать в книге, которую ты сейчас держишь в руках, читатель.*

*Анатолий Маркуша*



## I

С тех пор, как я себя помню, мама мечтала приобщить меня к культуре. Культура для шестилетнего мальчишки должна была складываться из беглого чтения, уроков немецкого языка и посещений балетной школы.

Можно бы рассказать и об упражнениях в чтении, и о немецких уроках, но я расскажу о балетной школе. Эта школа оставила во мне неизгладимый след.

Однажды меня привели в большой прохладный зал с окнами, забранными деревянными решетками, разделенными до трусиков, майки и носков, после чего поставили в общий строй. Кстати, строй этот был по-своему неповторим — двенадцать тошених



девочек и два пузатых мальчика. Я оказался самым маленьким и потому самым последним.

Потом в зал вошла немолодая женщина в длинном черном трико и черной, обтягивающей тело фуфайке. Женщина сказала:

— Здравствуйте, дети! Сегодня мы начнем наше первое занятие. Я буду показывать, что надо делать, вы — повторять. Все упражнения выполняются по команде. Вы меня поняли?..

И мы стали повторять всё, что показывала нам женщина: прыгали на пальчиках, оперев руки в бока, ходили гуськом, высоко поднимая колени и добросовестно оттягивая вниз носочки.

Это был еще не настоящий балет, а, я бы сказал, вводная часть или предисловие к великому искусству хореографии. Предисловие затянулось надолго — на целый год. Признаться, мне нравилось ходить на пальчиках, прыгать через веревочку и делать пирамиды с худенькими девочками.

На второй год уроки пошли под музыку. Теперь в прохладном зале появились две женщины: одна — в тренировочных доспехах балерины, другая, толстая и добродушная, — в старом шелковом платье-халате, пианистка.

Прыгать и ходить под музыку мне нравилось еще больше, чем без музыки, и я не ждал никаких огорчений. Но тут мне велели привести с собой маму. А дальше... дальше началось что-то совершенно непонятное.

Мама долго разговаривала с нашей руководительницей. Потом с папой; потом звонила по телефону сначала одной тете, и еще другой, и кому-то, кого я не знал. Наконец мама сказала мне:

— В воскресенье мы пойдем с тобой в консерваторию. Там тебя проверят.

Я не понял, что значит чудное слово «консерватория», не понял, почему меня будут там проверять; но не испугался.

«Проверять так проверять, — легкомысленно решил я. — Пожалуйста!»

В воскресенье меня одели в коротенькие бархатные штанишки, белую рубашку с бантиком, причесали — это было самое неприятное — и повели в консерваторию. Там собралась толпа чистеньких мальчиков и девочек. Все жались к своим мамам и папам и с опаской поглядывали друг на друга.

Потом мальчиков и девочек усадили в зале, а мамам велели остаться в коридоре, который назывался очень смешно — фойе. К нам в зал вошел высокий седой мужчина в черной бархатной толстовке. Он стал выкликать мальчиков к роялю.

Каждому седой человек говорил несколько слов — каких, я не слышал, — после чего мальчик начинал играть. Мне очень нравилось, как они играли, и я вовсе не ждал беды.

Может быть, десятым, а может быть, и пятнадцатым вызвали меня.

Седой человек заглянул в бумажку и велел мне отвернуться от клавишей. Я послушно отвернулся, он ткнул пальцем в какую-то ноту и сказал:

— А ну!

Я помчался по бело-черному полю, как борзая по следу, но... напрасно — мне никак не удавалось угадать, куда же ткнул пальцем мой экзаменатор.

— Да ты не волнуйся, — сказал он. — А ну еще!

Но я снова не взял следа.

И тогда седой человек спросил:

— А петь ты умеешь?

— Нет, — сказал я, — петь не умею.

— Совсем не умеешь? Ничего? И «Интернационал» не можешь?

— «Интернационал» могу, — смело сказал я.

— А ну!

Я набрал побольше воздуха в легкие и что было мочи выкрикнул: «Вставай, проклятый заклеянный...»

И тут случилось что-то странное: все, ну решительно все мальчики и девочки в зале захохотали.

— Хватит, — сказал седой человек, — ступай. — И он грустно улыбнулся.

Но это было еще не все.

Потом в коридоре профессор (седой человек оказался профессором) сказал моей маме:

— Простите, я тридцать шесть лет служу музыке, но никогда, даю вам слово, ни одного раза не встречал такого феноменального отсутствия слуха. Мне очень жаль, но... — И он смущенно развел руками.

Так я не стал звездой балета.

## II

Но кем-нибудь человек должен стать. И я стал... Впрочем, это случилось много позже.

В школе нас знакомили с основами электричества. Рассуждения учителя о положительных и отрицательных зарядах, о кулонах и вольтах как-то не особенно увлекли меня; наверно, потому, что я не находил применения этим высоким материям. Зато рассказ о коротком замыкании сразу же поразил мальчишеское воображение: тут все было ясно. Я сразу понял, что, если согнуть гвоздь буквой «П» и засунуть его в розетку, результата долго ждать не придется — немедленно погаснет свет, выключится утюг, замолчит дверной звонок.

Мой неокрепший мозг работал по схеме: согнуть гвоздь в виде буквы «П» — пустячное дело, засунуть перемычку в розетку — тоже ерунда, но... Источник замыкания будет немедленно обнаружен, и тогда, тогда... Впрочем, **вы** сами можете представить себе, чего я опасался.

И все-таки, поразмыслив над теоретическими выкладками нашего физика, я вышел из затруднительного положения. Взял обыкновенную иголку, осторожно захватил ее с тупого конца

кусочком изоляционной ленты и аккуратно воткнул в провод на метр выше розетки. И все произошло в строгом соответствии с наукой: в коридоре раздался легкий треск, и свет в квартире погас. Я был очень доволен!

Но самое интересное и неожиданное оказалось впереди.

Мама зажгла огарок свечи. Папа вытащил из уборной стремянку и полез чинить пробки.

Однако пробки не поддавались. Они плевались голубыми искрами, злобно трещали и ни за что не хотели включать свет.

И тогда мама сказала папе:

— Лучше, наверно, позвать Тараса Ивановича, а то ты еще пожар устроишь.

Папа обиделся. Он сердито слез со стремянки и сказал маме:

— Если ты мне не доверяешь, можешь звать хоть самого Томаса Альву Эдисона, - и ушел курить на балкон.

И тут я понял: никто, кроме меня, пробки починить не сможет! Потому что никто и никогда не найдет мою иголку, тем более впотьмах. Это было сладостное чувство: впервые в жизни я познал могущество точных знаний.

Действительно, я не ошибся: ни Тарас Иванович, ни мобилизованный ему на помощь инженер Соломон Наумович, ни великий механик нашего дома - пятнадцатилетний Славик ничего не сделали. Пробки починил я! С тех пор на нашей лестнице частенько случались таинственные короткие замыкания, как по всей сети, так и отдельных электрических приборов, и чинил их единственный человек. Кто был этим единственным мастером, вы, вероятно, уже догадались.

Так я стал электромонтером.

### III

При начале разговора я не присутствовал. Но не надо обладать особенно богатым воображением, чтобы представить себе, как протекала эта беседа.



В кабинет директора вошел широкоплечий, средних лет мужчина, сдвинул с головы кепку-восьмиклинку, представился и сказал:

— Так вот, значит, какое дело получается. Нашему ДСО... Не улавливаете? Добровольное спортивное общество — в этом смысле ДСО... Значит, нашему ДСО не хватает для парадной спортивной колонны сорок восемь мальчиков ростом по сто семьдесят два — сто семьдесят три сантиметра. Принципиально мы этот вопрос утрясли и согласовали в горно и в районных организациях. Так что не сомневайтесь — все как полагается, то есть законно! И теперь на вашу долю, вернее, на вашу школу приходится восемь мальчиков. Прошу распорядиться, указав персонально, кто будет выделен...

Надо думать, что директор не пришел в восторг от этого неожиданного сообщения, но, поскольку вопрос был уже «утрачен и согласован», распорядился.

Все назначенные на парад ребята были довольны. Да и как не быть довольными, когда мы получили пять свободных от **занятий** дней на загар, бесплатные кремовые трусы с лампасами, ярко-красные майки, белые спортивные туфли и носочки с кантиками.

Правда, все эти радости надо было еще отработать: не думайте, что сорок восемь человек могут вот так, вдруг, выстроиться в шеренгу и запросто пройти триста метров, не сбившись с ноги и не потеряв равнения. Мы тренировались до конского пота, до ватных ног. Конечно, тренировки были утомительными, но все же более приятными, чем уроки в школе.

Словом, мы радовались и веселились как могли. И я вовсе не ожидал, что участие в параде не окончится для меня в день праздника.

После генеральной репетиции ко мне и моему товарищу Жорке подошел неизвестный руководящий товарищ (то, что он был руководящим, мы без труда определили по его цвету масла шерстяным брюкам и такому же пиджаку) и спросил:

- Вы, ребята, по разверстке?
- Чего? — не понял Жорка.
- Ну, из школы, подкрашенные?

Действительно, перед генеральной репетицией нам ровняли загар и подмазывали нас каким-то пахучим маслом.

— И что же? — спросил я.

— Ничего. Просто интересуюсь. А ну-ка, согни руку... Так. Теперь присядь... Хорошо. Повернись... Сколько лет?... Нормально. Давай ты...

Он вертел нас с Жоркой так и этак. А мы обалдели от неожиданности, никак не могли понять, чем все это кончится.

Наконец руководящий товарищ заявил:

— Пожалуй, вы мне годитесь. Ищу кандидатов в юношескую гребную команду. Интересуетесь? Или через всю жизнь собираетесь на подкраске топтать?

— Так разве это мы придумали? — сказал Жорка.

— И не я, — перебил его Кузнецов (он назвал нам свою фамилию, пока крутил нас и ощупывал, словно цыган — лошадей), — понимаете, не я. Поладим?

Да, мы поладили.

Так я стал гребцом.

И, если кто-нибудь усомнится в этом, могу предъявить пять потемневших от времени, но очень дорогих мне спортивных медалей. При этом я готов присягнуть — на медалях нет ни грамма краски.

#### IV

Повороты судьбы прихотливы и неожиданны. После того как я закончил среднюю школу и тотально погорел на вступительных экзаменах в институт, меня вызвали в райком комсомола и сказали:

— Будешь работать в газете. Посылаем комсомольцев на укрепление, так что имей в виду — мы на тебя надеемся!..

Не знаю, приходилось ли товарищам из райкома комсомола читать очерк Карела Чапека «Как делается газета» и руководствовались ли они утверждением автора, что «никто до сих пор не пытался установить, откуда берутся журналисты... Журналистами, как и актерами, делаются люди самых различных профессий, оказавшиеся на распутье», — или у них были какие-то другие соображения, но факт остается фактом: меня послали «укреплять» газету.

Когда я пришел в редакцию, назвался и протянул секретарю направление, он не удивился,

— Начинать надо с информацией. Так? — не то спросил, не то просто сказал секретарь.

— Наверно, — сказал я, потому что ничего не сказать было просто неловко.

— Решено. Мы пристегнем вас к Алексею Николаевичу, Его сфера: новости торговли, рынки, выставки и так далее. Хорошо?

— Хорошо, — сказал я, хотя ровно ничего не понял.

— Тогда начинайте. Желаю успеха.

— А что начинать? — спросил я, глупо краснея.

— Как это — что? Работать начинайте. Ступайте к Алексею Николаевичу, представляйтесь и двигайте.

Я разыскал дверь с табличкой «Отдел информации», спросил, кто тут будет Алексеем Николаевичем, и представился.

Пожилой человек в очках с тонкой золотой оправой, краснойлицый, тучный, приветливо улыбнулся и сказал:

— Очень приятно. Журналист — это слух, нюх и натиск! Для начала садитесь и слушайте. Мне надо закончить. — И он продолжил прерванный моим появлением разговор: — Так вот, я говорю: отправляйте в загон Тихона, отправляйте в загон Сашу, хотите — меня, но Соломатина не трогайте! Поставили в подвал, и пусть стоит! Или вы хотите испортить отношения с Горторгом?!

Высокий лохматый человек с волчьими желтыми зубами, к

которому обращался Алексей Николаевич, видно, придерживался совсем другой точки зрения.

— Хорошо будет ваш Соломатин и без подвала, - сказал он спокойно. — Поставим его вот так. — Тут он черкнул красным карандашом по разграфленному листу бумаги и улыбнулся: — Получится отличная собачья ножка. Согласны?

— Нет! — крикнул Алексей Николаевич. — И еще сто раз нет! Я не дам превращать принципиальное выступление заместителя управляющего Горторга в пошлую собачью ногу. Нет! Ни в коем случае.

В это время в комнату вошла херувимчик-секретарша и тоненьким, совсем детским голоском спросила:

— Я только что звонила к выпускающему. Он сказал, что Варвару уже тиснули и сейчас принесут в отдел. Ее как — сушить или так давать?

— Давайте так, — не оборачиваясь в сторону девушки, ответил Алексей Николаевич. — Сушить времени нет.

Мне показалось, что я попал в сумасшедший дом.

Прошел не один день, прежде чем я понял, что такое полоса, подвал, собачья нога, оттиск, гранка, загон и прочие премудрости газетной кухни. Это было открытие нового мира. И я шел в этот мир, как верный бульдог Алексея Николаевича, ступая след в след за моим шефом.

Наконец шеф сказал:

— Ну, хватит, друг мой, приноживаться. Давайте работу! Объект — управление рынков. Задание — информашка о завозе овощей и фруктов. Тридцать строк. И чтоб без бантиков, но повеселей! Действуйте. Ни пуха вам ни пера!..

Я действовал целый день. Терся по отделам управления рынков, спрашивал, записывал и только к вечеру уселся за стол. Прилежно заглядывая в блокнот, писал, перечеркивал и снова писал.

Мне было стыдно.

Я не находил слов, которые заставили бы улыбаться вороха

моркови и веселиться кочаны капусты. Сколько я пи мудрил, творение мое оставалось выпиской из нового прейскуранта - и не более того!

И еще меня мучило заглавие. Я писал: «Горы овощей» — и зачеркивал, «Река осенних даров земли» — и тоже зачеркивал, "Тысячи тонн арбузов"...

Через полтора часа отчаяние окончательно захлестнуло меня. Я понял: на всем белом свете нет большего идиота, жизнь не удалась... И тогда я сделал последнее волевое усилие. Через всю страницу написал:

*ЦЕНЫ НА АРБУЗЫ СНИЖЕНЫ*

Подчеркнул это оригинальное утверждение жирной двойной чертой и не переводя дыхания перекатал подряд всю первую страницу своего блокнота. Я сообщал читателям, что с пятнадцатого сентября 1938 года цены на овощи снижаются в среднем на двадцать процентов, что московские рынки получают в ближайшее время столько-то картошки, столько-то капусты, столько-то лука и столько-то фруктов.

Не заглядывая больше в свое произведение, я грохнул заметку на стол Алексея Николаевича.

Я ждал если не землетрясения, то грозы. Но стихийное бедствие не разразилось. Шеф в три секунды пробежал мое убогое творение и сказал не дрогнувшим голосом:

— Очень мило, особенно если вы ничего не напутали в цифрах. Конкретно! Это всегда хорошо. Давайте на машинку, и будем ставить в номер.

Так я стал репортером.



Репортер — малюсенький винтик сложной газетной машины. Репортер с утра до ночи в бегах, репортер всегда спешит, да это и понятно — человека ноги кормят: новости, новости,

новости, газете нужны самые свежие новости. Но у всякого репортера, кроме ног, есть еще и душа. Так вот, моя душа рвалась в небо. Я писал о продаже жареных пирожков, а мечтал о тонкокрылых планерах-парителях, я давал отчет о совещании лучших мороженщиков столицы, а думал о затяжных прыжках с парашютом; я представлял свою газету на торжественном открытии нового магазина «Гастроном», а видел себя участником воздушного парада в Тушино.

Теперь я думаю: «Почему мне не сиделось на земле?» И отвечаю: «Наверно, потому, что воздух тех далеких лет был наполнен ароматами героических перелетов, непрерывных штурмов авиационных рекордов, потому что девизом времени стали слова: «Летать дальше всех, летать быстрее всех, летать выше всех!»

Надо ли доказывать, что мечты, не подкрепленные делами, стоят дешево? Я решил действовать. Самое простое, что можно было сделать, — это поступить в аэроклуб.

Месяца три мы учили устройство парашюта, технику отделения от самолета, порядок действий в воздухе и особенности приземления на ровное поле, на воду, на лес, на местность с препятствиями.

Наконец пришел день, когда нам представилась возможность соединить теорию с практикой.

Зеленый стрекочущий «У-2» оторвал меня от земли и понес в небо. Два неуклюжих парашютных ранца — на спине и на животе — мало способствовали комфорту этого полета, но о комфорте я тогда не думал. Во все глаза я смотрел на ставшую сразу далекой и необыкновенно чистой землю, на голубое небо, широко раздавшее черту горизонта, на прыгавшее перед глазами коромысло толкателя в моторе. Но интереснее всего была земля.

Выгоревшее летное поле с высоты нашего полета казалось пронзительно зеленым, мутная река, отразив небо, засверкала неестественной картографической голубизной, обычный приго-

родный поселок, никогда никого не удивлявший чистотой, казался теперь построенным из снежно-белого сахара-рафинада.

Признаться, я даже позабыл, что через каких-то шесть-семь минут мне предстоит прыгать с парашютом. Впрочем, забыл я об этом ненадолго.

Сначала о прыжке напомнил двигатель нашего «У-2» — резко снизились обороты, равномерное стрекотание перешло в хлопающие неприятные выстрелы, потом сказал свое слово инструктор.

— Вылезай! — крикнул он громко и властно.

Я приподнялся на сиденье, еще раз взглянул вниз и оторопел: земля, секунду назад казавшаяся сказочно красивой, холодно-величественной, преобразилась. Далеко под самолетом безалаберно кособочились здания, злобно щетинился лес, нелепо петляла река. Ничто не радовало глаза, ничто не внушало доверия. И туда надо было падать. Вот так, оттолкнуться от милого, такого надежного «У-2» и просто падать...

— Ты что? — закричал инструктор.

— Ничего, — ответил я и приподнялся на сиденье чуточку выше прежнего.

— Давай поворачивайся, уходим с расчетной точки.

«Ну и пес с ней, с расчетной точкой, — подумал я. — Может быть, лучше совсем не прыгать?» Но тут же мне представилось позорное возвращение на землю после невыполненного прыжка, насмешливые взгляды ребят, презрительно брошенное слово «сдрейфил». Такого я не мог вынести. Значит, выбора не было, оставалось прыгать! Я перекинул ногу через борт и стал выкарабкиваться из кабины.

Дальше все происходило автоматически: шаг к кромке крыла, поворот на девяносто градусов вправо, рука на кольцо... Кто-то сказал: «Готов». С опозданием я сообразил, что этот «кто-то» был я сам, просто от волнения у меня изменился голос.

— Пошел! — улыбаясь и подбадривая меня взглядом, сказал инструктор.

И тут, вместо того чтобы, мужественно и деловито ответить «есть», шагнуть вперед — в небо, я как последний идиот спросил:

— Куда?

— Прыгай! — закричал инструктор. — Прыгай, а то снесет.

— Кто снесет? — полюбопытствовал я и сообразил, что сейчас, вот сию минуту, инструктор прикажет мне лезть обратно в кабину.

Кажется, он даже крикнул:

— На...

Но я так и не узнал, что он собирался сказать дальше, Я шагнул вперед и повалился вниз.

Воздух оказался плотным. Динамический удар наполнившегося купола — ощутительным. Наступившая следом тишина — потрясающей,

Спускаясь на летное поле я думал: «Я хочу любить небо там, на высоте, и вовсе не хочу падать на землю, вручая свою жизнь этому бессловесному шелковому зонтику; я хочу действовать в синем просторе, а не висеть в нем; хочу быть как птица, а не как опавший кленовый лист...»

Основательный удар о картофельное поле не вытряхнул этих мыслей. Так я не стал парашютистом, а стал летчиком. Правда, это случилось не в один день, но случилось.

## VI

Летчиком я был долго. Не знаю, большую ли часть своей жизни, но лучшую несомненно. За годы, проведенные в воздухе и на аэродромах, довелось увидеть и пережить всякое. Обо всем сразу не расскажешь. Но одну историю мне хочется вспомнить.

Была глубокая осень. Войска Карельского фронта готовились к решающему броску на запад. Меня вызвал командир дивизии и приказал ехать в наземные части.



— Ваша задача, — сказал комдив, — развернуть пункт наведения при штабе полковника Обыденкина и с земли помогать нашим ребятам. Вам ясно?

Задача была ясна, но, скажу откровенно, энтузиазма не вызвала: согласитесь, какая может быть радость летчику сидеть на земле и кричать в микрофон своим товарищам: «Довернись влево, противник ниже... Внимание, внимание: «Мессера» сзади!» Летчик-истребитель — воздушный боец, и не его работа кричать по радио, но приказ есть приказ, и я поехал выполнять то, что мне было велено.

В штабе стрелковой дивизии меня встретили приветливо. Дали рацию, дали двух радистов, помогли выбрать самую высокую сосну и устроить на ней наблюдательный пункт.

И ровно через пять минут после того, как закончились все необходимые приготовления, на нас, как по заказу, налетели «Юнкерсы». Правда, ни «Лавочкиных», ни «Яковлевых», ни «Аэрокобр» в воздухе не оказалось, так что наводить на противника мне было некого. Что же оставалось? Оставалось смотреть, как пикируют и бомбят немцы, как они стреляют из пушек, как бьют по противнику наши зенитчики. Я и смотрел. Надо сказать, что бомбили «Юнкерсы» плохо. Но как бы вас ни бомбили — метко или неметко, — глядеть на рвущиеся бомбы всегда противно.

Сразу же после налета меня вызвали в штаб.

Сначала полковник художественно изругал всю авиацию вообще. Изругал за то, что в нужный момент истребителей не оказалось над полем боя. Потом он принялся за меня, но тут снова закричали: «Воздух!» — и я так и не успел узнать, в чем провинился.

Вторая волна «Юнкерсов» оказалась над нашим передним краем одновременно со звеном «Лавочкиных».

Единым духом вознесясь на сосну, я принялся за дело. Если бы зафиксировать на магнитофонную пленку все, что тотчас полетело в эфир, получилась бы приблизительно такая запись!

— «Резвый», «Резвый», я «Грач-два», противник слева выше. Двенадцать «лаптей» в пленге...

— Понял, «Грач», атакую...

— Внимательней, «Резвый», правее пара «Мессеров»!

— Вижу, вижу, вижу! Коля, отсеки. Иван, прикрой!

— А-а-а-а, гады!

— За хвостом смотри...

— «Резвый», слева пара! Слева «Мессера»!

— Вижу...

Над передним краем завертелось колесо воздушного боя. Три «лаптя» — «10-87» рухнули. Бомбы попадали куда попало. И уже через пять минут все стихло.

Меня снова вызвали в штаб.

— Молодец! — сказал полковник. — Герой! Благодарю!

— Служу Советскому Союзу! — ответил я по-уставному.

— Хорошо служишь! Неужели не страшно, герой?

— Что страшно? — не понял я.

— На открытом месте под бомбежкой стоять. Я лично совершенно не переносу. Пусть артогонь, пусть мины, а вот бомбежка — хуже нет.

— Плохо они бомбили. Чего ж бояться, когда видно, куда бомбы лягут...

— Как это — видно? Ты что, бог?

— Я, конечно, не бог, товарищ полковник, но нас учили...

И я стал добросовестно объяснять, что такое отставание, что такое снос, что такое ракурс. Мне очень хотелось, чтобы симпатичный пехотный полковник понял основной смысл маневрирования на бомбометании.

— А я думал, ты герой, — неожиданно перебил меня полковник. — Оказывается, ты просто грамотный. — И он засмеялся.

— Конечно, товарищ полковник, никакой я не герой. Это же совсем просто. Смотришь на пикирующую машину и видишь, например, что киль проектируется через левую плоскость, сразу

ясно — бомбы лягут слева. И еще надо учитывать высоту и ветер...

— Ну ладно, — сказал полковник, — если прилетят еще, приду на твой энпэ, покажешь на практике...

Они прилетели еще раз и еще много-много раз подряд. И полковник приходил на мой энпэ. Сначала, когда «Юнкерсы» разворачивались над целью и переходили в крутое пикирование, он заметно менялся в лице, начинал нервно тереть ремешок полевой сумки. Потом пообвыкся и стал определять:

— Бомбы лягут левее дороги, у речки...

Или:

— Рванет в артиллерийских тылах, около леса...

И когда прогноз оправдывался, веселел и приговаривал:

— А я думал, ты герой. Оказывается, все дело в науке!

Потом он уходил и присылал на мой энпэ то своего начальника штаба, то начальника оперативного отдела, то заместителя по тылу. За неделю в гостях у меня перебивал весь штаб.

Теперь уже не вспомнить, сколько раз нас бомбили в ту неделю — может быть, сорок, а может быть, и все пятьдесят. В одном я, однако, уверен: примерно после пятнадцатой бомбежки в щелях и укрытиях стало куда свободнее, чем прежде. Теперь штабисты полковника Обыденкина сначала смотрели на небо, определяли угол пикирования, ракурс, а потом уже решали, прятаться или не прятаться от пикировщиков...

Так я не стал героем.

## VII

Говорят: «Привычка — вторая натура». Правильно говорят. В этом я убедился на собственном опыте. Начав вести коротенькие записи в блокнотах еще в дни своей репортерской службы в газете, я не отстал от этого занятия ни в летной школе, ни на войне, ни после войны.

Постепенно у меня скопилось множество записных книжек,

тетрадей и отдельных листков, хранивших воспоминания о людях и событиях, о случаях и историях. Так я стал обладателем довольно значительной коллекции фактов, а факты, как известно, первый строительный материал литературы.

И вот, кажется, в сорок шестом году, я попытался возвести свою первую литературную «постройку». Это был рассказ, во всяком случае мне казалось, что это рассказ. Тщательно оштукатурив свое сооружение, подкрасив его местами голубой, местами светло-розовой краской, я послал рассказ в молодежный журнал. Что из этого вышло, свидетельствует следующий документ:

*Уважаемый товарищ!*

*Мы ознакомились с Вашим рассказом. Ну что можно сказать о Вашей работе? В ней чувствуется знание жизни, но Вам не хватает умения экономно использовать свои наблюдения. Кроме того, читателю остается неясной Ваша задача: что, собственно, Вы хотели сказать своим рассказом?*

*И язык! Язык у Вас цветистый. Вам надо учиться. Читайте Гоголя, Тургенева, Чехова, Горького — вот лучшая школа для человека, желающего посвятить себя литературе.*

*С приветом*

*Литконсультант Л. Титов.*

Я перечитал это письмо пять раз подряд, перечитал свой отвергнутый рассказ и... сел за новое сооружение.

Теперь я не спешил обращаться в редакцию. Писал и складывал все написанное в штурманский планшет. Постепенно планшет стал распухать и наконец отказался застегиваться. Тогда я извлек на свет божий все, что было сочинено за год, и начал исправлять и переделывать. Работа эта заняла много времени, но все-таки пришел такой день, когда мне показалось, что все в моих рассказах хорошо, а кое-что просто отлично,

И тогда я понес свои рассказы — числом двадцать — в журнал. Это был другой журнал.

— Оставьте, — неодобрительно взглянув на потрепанную летнюю куртку, сказала мне хорошенькая девушка-секретарша. — Мы посмотрим и напишем.

Месяца через полтора я получил письмо в фирменном конверте почтенного журнала:

*Уважаемый товарищ!*

*Мы внимательно ознакомились с Вашими рассказами, посвященными жизни и боевым делам летчиков. Должны Вас огорчить: вероятно, Вы слабо знаете жизнь авиации, пишете, как говорится, с чужих слов, иначе трудно объяснить Ваше стремление рассказывать о событиях исключительных, невероятных, нежизненных. Разве работа и боевая деятельность летчиков складываются из одних только подвигов? Подумайте над этим.*

*Если у Вас есть другие рассказы, присылайте.*

*С приветом*

*Зам. зав. военно-физкультурным  
отделом П. Южнов.*

Через год и рассказов и отзывов стало у меня еще больше. Теперь я знал совершенно точно: не надо писать о том, чего сам толком не знаешь; не надо писать слишком длинно; равно как и слишком коротко; не надо описывать природу хуже Тургенева и завязывать сюжетные узелки слабее Чехова; не следует оригинальничать; не следует писать красиво; ни в коем случае нельзя подражать Хемингуэю; не надо также сообщать читателю то, что ему и без тебя известно...

Словом, что не надо, я знал довольно точно, хуже обстояло с тем, что надо, — этого мне никто не сообщил, а может быть, я просто не понял.

Вероятно, я бы и по сей день складывал на одну полку свои работы, а на другую — редакционные отзывы, если бы не слу-

чай. Это был великолепный случай! Судьба столкнула меня с известным писателем, автором превосходнейшей книги о людях чистой совести. Я набрался смелости и рассказал ему о своих затруднениях.

Он терпеливо выслушал, распушил бороду и сказал:

— Давай сюда свои труды и приходи через три дня.

Я пришел через три дня и услышал:

— Вот это — шлак, издержки производства. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Держи. — И он пододвинул ко мне толстую пачку хорошо знакомых листков. — А вот это — книжка. Книжка о летчиках. Мне нравится. — И он пододвинул ко мне тоненькую пачку тоже очень знакомых листков. — Что, по-моему, надо сделать? Вычеркнуть отсюда все, без чего можно обойтись, что тебе покажется лишним. И тогда будет совсем хорошо. Это на мой вкус... Вот рецензия.

Через восемь месяцев после этого разговора тоненькая пачка листков превратилась в мою первую книжку.

Так я стал писателем.

*Баку — Москва.*

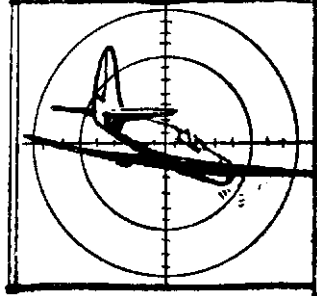


## *Совесть* / РАССКАЗ ЛЕТЧИКА /

Гвардии генерал-лейтенанта авиации Валентина Ивановича Киселева я знаю очень давно. Помню капитаном. Встречался с ним и до войны и на войне. Могу сказать совершенно точно: Валентин Иванович — один из лучших истребителей страны и едва ли не самый выдержанный человек на свете.

Помню тесный фронтовой аэродром, командный пункт под разлапистой изумрудной елкой, невозмутимый голос в динамике:

«Вега», «Вега», я «Стрела-одинадцать», дайте обстановку на точке».



И через минуту:

«Вега», «Вега», я «Стрела-одиннадцать», вас понял. Захожу на посадку. Двигатель горит. Обеспечьте пожарную машину. Прием...»

И еще помню: перед командиром эскадрильи вытянулся в струнку молодой старший лейтенант, командир звена. Докладывает:

— И тут как «Фоккера» навалятся, штук, наверно, пятнадцать...

— Пожалуйста, точнее, — перебивает Валентин Иванович, — сколько «Фоккеров»?

— Точно не успел сосчитать, вскочил в облака...

— Плохо. Надо считать точно, у вас среднее образование.

Я видел его в бою — под огнем в небе и под бомбами на земле. Всегда он был одинаковый — спокойный, ровный, невозмутимый.

Неспокойным и неровным я увидел его не так давно, первый раз в жизни. И было это в просторном кабинете начальника летного училища. Вот уже несколько лет Валентин Иванович занимает эту должность.

Генерал расстегнул китель — с ним это редко случается, снял галстук. Широкими мягкими шагами мерил он кабинет, и две Золотые Звезды Героя мерно покачивались в такт его шагам.

— Ты мою последнюю эскадрилью — сорок пятого года — должен помнить. Орлы были! Шестеро Героев, все кавалеры Красного Знамени. Пилотяги — только держись. И вот с этим народом в середине апреля мы перебазировались под самый Берлин. Аэродромы раскисли, работали с автострад. В день по семь-восемь вылетов делали. Кто-то из ребят сострил тогда: «Трудно воевать стало. Сбить его — не проблема, вопрос — как найти!» Настроение тут правильно схвачено, а обстановка — не совсем. Сбить противника всегда трудно, это ты знаешь не хуже меня. К тому же в районе Берлина и зениток хватало.



Но, так или иначе, летали мы в ту пору много и дрались крепко. В последних боях друг другу совсем как родные братья стали.

Кажется, одиннадцатого апреля это случилось. Поднимаю эскадрилью по тревоге, с воздуха вижу — один не взлетел. Запрашиваю землю, в чем дело. Командный пункт отвечает:

— Тринадцатый прервал взлет. Неисправность двигателя.

Поблагодарил капэ, перестроил ребят, пошли на задание девяткой. Получилось тогда все нормально. Штурмовиков прикрыли, сами без потерь вернулись. Красота.

Так в тот день девяткой и работали. А на холоповской машине механики до вечера возились. Было уже совсем темно, когда Холопов доложил:

— Товарищ командир, машина введена в строй.

Помню, я его еще спросил:

— А что там на машине было?

— Обороты упали, забарахлил регулятор винта.

Конечно; я его обругал. Не за прерванный взлет, а за формулировку. Что значит «забарахлило»? Тоже мне летчик! Должен толком знать, в чем дело. «Забарахлило» — не разговор. Ты мне доложи, какая неисправность, какая причина, каким образом устранен дефект. Так я всегда от всех требовал. Ну, и все.

На другой день снова прикрытие штурмовиков и участие в штурмовке. Пошли десяткой. Два вылета тихие получились. Третий — с боем. Я тогда один «Фоккер» завалил, и Вася Лебеденко — один.

Выскочили из драчки, считаю штурмовиков — все, считаю своих — одного нет. Опрашиваю по радио: кто где. Ребята докладываются: все тут, нет Холопова.

Спрашиваю, где Холопов. Молчат. Настроение тут же скидает. Потеряли человека, и никто не видел, как. Это же черт знает что! Слава богу, не сорок первый год. Это тогда мы были слепыми, как котята, а за четыре-то года вроде бы научились

по сторонам смотреть. А тут нет Холопова, и никто не знает, где тринадцатый.

Минут через пять земля передает:

— Не беспокойтесь, тринадцатый дома. Приземлился благополучно.

Как услышали, сразу от сердца отлегло. Над посадочной распускаю строй, кручу восходящую бочку, даю трассу, и Вася Лебеденко крутит и тоже сажает очередь в небо. Так уж у нас заведено было: сбил — имеешь право салютовать.

Сели. Подходит Холопов, докладывает. Так, мол, и так: опять движок подвел. Упали обороты, в строю не удержаться, пришлось тянуть домой. Еле дошел.

Зову инженера эскадрильи. Спрашиваю, в чем дело.

Инженер мнется. Говорит, что на земле вроде бы все в порядке, а летчик вот жалуется. Ищем дефект, пока не нашли. Как найдем, так будет доложено...

Откровенно говоря, мне этот разговор не понравился.

— Я Холопову верю. Холопов с сорок третьего года воюет. Сбил семь самолетов лично, одиннадцать — в группе. Тень на летчика никому наводить не позволю. Говори прямо: исправен самолет или не исправен?

А инженер у меня был мужик с характером. Такого не очень-то словами напугаешь. Возражает.

— Так, — говорит, — товарищ командир, вопрос нельзя ставить. Надо разобраться сначала. У меня есть объективные показания приборов. Почему я им должен верить меньше, чем вашему Холопову?

Я тоже стал из себя выходить. Перебиваю инженера:

— Мне летать надо, работать. Философию свою оставь на потом, а сейчас говори прямо: да или нет?

Молчит. А я свое требую:

— Да или нет?

— Разрешите, товарищ командир, подумать.

Ну что делать? Запретить ему думать не в моей власти.

— Ладно, — говорю, — пятнадцать минут тебе на размышления. Через пятнадцать минут доложишь точно, а пока иди.

Но через пятнадцать минут доложить ему не пришлось. На передке танки пошли в прорыв, и мы без передышки вылетали пять раз подряд на штурмовку.

А на следующий день инженер доложил, что все десять самолетов в строю. Про холоповскую машину он ничего не сказал, а я не спросил — просто забыл спросить.

С утра летать было хорошо: солнышко нас прикрывало. А немцев утреннее солнышко слепило. Первые три вылета отработали десяткой. Тихо, мирно побарражировали по сорок минут — и домой. Благодать, вроде и войны никакой нет, можно подумать, будто нам велено групповую слетанность отрабатывать...

В десять тридцать подняли нас на прикрытие штурмовиков. Вылетели десяткой, вернулись восьмеркой.

Колю Руховца зенитка срубила. Прямое попадание — сам видел: разрыв, огонь и полетели ошметки. Видно, в бак угодили. А Холопов опять незаметно потерялся.

На этот раз я ни инженера, ни самого Холопова слушать не стал. Как приземлился, так, не снимая и парашюта, пересел из своей машины в его. Запустил мотор, поглядел на приборы — все в норме. По газам и пошел на взлет. Машина у него была — зверь, отличная машина. Весь пилотаж над посадочной полосой отработал без сучка без задоринки.

Приземлился, позвал к себе Холопова. Отвел его в сторонку и говорю:

— Что с тобой, Сашка? Нездоровится? Нервишки? Скажи прямо.

Молчит, на меня не смотрит.

— Ты чего молчишь, Саша? Я с тобой по-хорошему, как человек с человеком... Ты что, не понимаешь положения? Я ведь в трибунал должен тебя отдать...

Тут его прорвало. Что он там говорил, понять было невоз-

можно. Лопотал, как маленький. Одно только я понял: простите, больше не буду, больше не буду, простите.

В трибунал я его не отдал, дела заводить не стал. Понимал — люди измучены, перенапряжены сверх всяких человеческих возможностей. Словом, называй это как хочешь — простил я Холопова. Да-да, превысил власть, не имел права прощать, а простил. Никто мне тогда слова не сказал, только душа почувала — летчики моего решения не одобрили.

Но в следующие пять дней ничего плохого не случилось. Холопов летал вместе со всеми, летал столько раз, сколько все, и даже сбил одну «раму» — разведчика.

Двадцать второго апреля мой заместитель Гогоберидзе сказал:

— Ну что, командир, как думаешь, теперь уже немножко осталось?

— Думаю, что немножко, — сказал я.

— Дожить бы, а?

— Что значит — дожить, Костя? — Не понравились мне эти слова.

— Именно — дожить. Я же не говорю — выжить. Чем плохо дожить до победы...

Вечером Холопов снова отстал от группы. Правда, на этот раз он приземлился после нас всех. Говорил, что его отколола от строя и связала боем пара «Мессеров», но ему никто не поверил.

В сумерках я построил эскадрилью. Только летчиков. Нас было девять. Вместо Коли Руховца так никого и не прислали. Я приказал Холопову выйти из строя. Он вышел. И тогда я сказал, обращаясь к крайнему в строю Мише Соломатину:

— Соломатин, что ты хочешь сказать Холопову?

Соломатин сказал:

— Эх, Сашка, Сашка, так люди не делают!

Гуров сказал:

— Вспомни Воронеж. Вспомни, как мы тебя подбитого при-

крывали. Сережку Алфимова вспомни, он не вернулся тогда. Забыл, гад?

Казарьян сказал:

— Ошибки прощаю, подлость — никогда.

Васин сказал:

— Ты же человек. Возьми себя в руки. Будь человеком.

Менделев сказал:

— Неужели тебе не стыдно смотреть нам в глаза?

Лебеденко сказал:

— Была бы моя воля, я б тебе объяснил по-другому, что к чему. Я б из тебя зараз заику сделал. Зря тебя командир помиловал. Это, конечно, его дело, но раз меня спрашивают, я говорю — зря.

Гогоберидзе сказал:

— Выживаешь, Сашка! Самым умным себя считаешь? Думаешь, мы дураки, не видим, не понимаем? Напрасно так думаешь — мы всё понимаем. Христос прощать велел, только мы неверующие, мы по своему закону живем... Не могу тебя простить, совесть не позволяет и кровь не позволяет. Какая кровь? Нет-нет, не моя, грузинская кровь — кровь тех, кого мы потеряли на Волге, на Дону, на Днепре, на Висле. Всё.

И тогда сказал я:

— Товарищи летчики, больше Холопов из боя не выйдет и с задания самовольно не уйдет. Мы его предупредили — этого довольно. Будет так, как я сказал. Вы свободны, товарищи.

В тот день я очень устал. Мне чертовски хотелось прилечь и ни о чем не думать. Просто лежать, глядеть в небо, глубоко дышать и ни о чем не беспокоиться. Лечь я мог, глядеть на звезды тоже мог, а вот не думать — никак не мог.

Пойми меня: я знал Холопова почти три года. Три года на войне — это по мирному счету целая жизнь. В летный рацион входило, между прочим, тридцать граммов соли в день — кило

на месяц. Выходит, мы с ним не пуд, а целых два пуда соли вместе съели...

Я ставил себе вопросы и отвечал на них. Что же получилось?

Техника пилотирования у Холопова? Отличная.

Здоровье? Нормальное.

Характер?..

Тут я задумался. Холопов парень молчаливый, сдержанный. Таким он был всегда. Конечно, это не криминал, не преступление. Мало ли отчего люди бывают неразговорчивыми. Пожалуй, он жадноват. Вспомнилось вдруг, как Холопов копил табак. Давно это было, под Воронежем. Холопов тогда не курил. Нам давали пачку папирос на день, «Северную пальмиру». Он складывал свои папиросы в парашютный чехол. Потом был перебой с табаком. Все собирали окурки, курили какую-то несусветную дрянь. Ребята вспомнили о холоповских резервах и попросили у него покурить. Он сказал, что сменял папиросы на сахар, а сахар послал домой. Никто не удивился тогда. Было? Было. Ну и что? Ничего, просто было... Потом месяца через два Холопов начал курить. Нам давали тогда «Звездочку» — порядочная гадость, а не папиросы. А Холопов исподтишка курил «Северную пальмиру». Он спрятал папиросы, но не мог спрятать окурки...

Ссорились мы редко. Летчикам нельзя ссориться, это ты понимаешь: один за всех и все за одного. Под Смоленском Холопов сбил «раму» — помнишь, у немцев такой разведчик был? Летал он тогда в паре с Казарьяном. Ребята говорят:

— Сашка, запиши «раму» на Казарьяна. У него будет тогда пятнадцать лично сбитых. Норма на Героя. Казарьян срубит и вернет тебе.

— Нет, — сказал Холопов, — вместе сбили, пусть на двоих и будет.

— Но Казарьяну всего одного фрица не хватает. Что тебе, жалко?

— Нет. Мне не жалко. Только это будет нечестно. Мы что, за звезды воюем?

Конечно, он был прав, мы воевали не за звезды, и все равно ребята на него обиделись. Но-моему, обиделись все, кроме Казарьяна, Казарьян гордый, ему весь этот разговор неприятен был с самого начала. Он все старался тогда отшутиться...

Вот так я и лежал и думал о Холопове.

Понятно, Холопов не ангел, не безгрешный, но и все остальные не ангелы. Разве Лебеденко не отбыл три месяца в штрафной роте? Было? Было. Он еще хорошо отделался: пьяный дебош, стрельба... Мог бы совсем сгореть... А Гогоберидзе? Сколько я с ним поначалу горя хлебнул! Он же взрывался от каждого пустяка. Ты должен помнить ту знаменитую московскую инспекцию, когда Костя чуть не подрался с полковником. И из-за чего? Ему показалось, что полковник подковырнул его, когда спросил, хватает ли Косте ноги на ранверсмане. Костя-то наш коротконогий.

Нет, все мы не ангелы.

Но мы делаем свое дело и не бросаем товарищей над целью. Конечно, мы все очень хотим дожить до победы, но разве кому-нибудь из нас пришло в голову выживать в последних боях? Выживать — это Гогоберидзе сказал, Очень точно. Костя умеет формулировать.

Я не могу оправдать Холопова, но я стараюсь его понять, мне нужно объяснить его поведение для себя, для товарищей,

В сорок втором нам было так же далеко до Берлина, как до луны. Тогда можно было либо драться, либо дезертировать. Мы дрались, и все вопросы решались очень просто: или я его, или он меня завалит. Третьего просто не было. То есть и тогда было это третье. Ты меня понимаешь? Но оно было страшнее смерти и в конечном счете все равно означало смерть...

В апреле сорок пятою года обстановка резко изменилась. До гарантированной мирной жизни оставалось самое большее неделя, ну две недели. Можно дожить и можно не дожить. Это

как повезет. И Гогоберидзе прав — появилась возможность выжить.

В ту ночь я спал мало и плохо.

На следующий день мы начали работать с рассвета. Берлин сильно бомбили. Небо превратилось в сплошной слоеный пирог: синяя полоса собственно неба, бурая полоса дымной начинки, снова — небо, и снова — дым. И так до трех тысяч метров. Немцы, чувствуя приближение конца, озверели. Давно уже нам не приходилось драться так напряженно.

На третьем вылете мы схватились с группой «Фоккеров». Следить за противником было очень трудно, машины терялись в дыму и выскакивали из дыма совершенно неожиданно и совсем не с той стороны, откуда можно было ожидать. Напряжение росло, результата не было. Наконец Гогоберидзе заорал:

— Есть, голубчик!

И я увидел, как дымящийся «Фоккер» повалился вниз. Стало легче. Я обернулся, меня прикрывал Соломатин. Миша был па месте, но к нему пристраивался тупорылый «Фоккер». Да, и вовремя обернулся. Через пять секунд могло быть уже поздно. Боевым разворотом рванул машину вверх, но «Фоккер» заметил меня, бросил Соломатина и нырнул в дым. Я полез следом. Проскочил первый слой, второй. «Фоккер» исчез, как испарился. Под третьей кромкой дыма разворачивался наш «Лавочкин». Я оказался ниже его и чуть правее. Я разглядел бортовой номер машины — восемьдесят четвертый. Это был Холопов.

Он ходил змейкой над боем. Его прикрывал дым — сверху и снизу. Я бы сказал, он неплохо устроился, если хотел, чтобы его не беспокоили.

А в наушниках шлемофона шумел бой.

— Прикрой! — кричал Казарьян.

— Смотри слева, смотри слева! Я узнал Лебеденко. — Грясь...

— Атакуем! — Это сказал Менделев.

В это время Холопов развернулся и взял курс на северо-



восток. «Тянет к дому, — совершенно спокойно подумал я и Не удивился. — Выживает».

Ты, конечно, понимаешь, что я не верю ни в судьбу, ни в какую другую чертовщину, но то, что произошло в следующий момент, было как возмездие.

Метрах в двадцати впереди меня из бурой пелены дыма выскочил тупорылый «Фоккер».

Что он собирался делать секунду назад и почему ринулся в непроглядную муру, — мне неизвестно, но, когда пушки его чуть ли не уперлись в самолет Холопова, летчик поступил так, как поступил бы любой истребитель: нажал на гашетки...

«Лавочкин» с бортовым номером восемьдесят четыре перевернулся на спину и пошел к земле.

Машина не загорелась. Белой вспышки открывающегося парашюта не последовало.

А «Фоккер» тут же растворился в дыму, будто его и не было.

Вот и все.

Через десять минут мы вернулись на свой аэродром. Вернулись восьмеркой.

С тех пор прошло пятнадцать лет. В жизни все забывается. Совесть меня не тревожила. И я стал уже забывать фамилию Холопова. В конце концов, он был обыкновенным предателем. Согласись, я не обязан помнить имена всяких подонков.

И все-таки мне пришлось на днях вспомнить Холопова. Слушай внимательно, я расскажу, как это случилось.

Является ко мне адъютант, докладывает о посетителях, передает рапорта. После всей церемонии говорит:

— А еще, товарищ генерал-лейтенант, разрешите доложить:

третий день к вам на прием просится младший сержант Холопов, из роты связи. Говорит, вы ему нужны по совершенно личному делу. Я объяснил младшему сержанту и что такое рапорт, и что такое инстанции, только он на своем настаивает: на личном, то есть, свидании.

— Как фамилия сержанта? — переспросил я.

— Младший сержант Холопов, товарищ генерал-лейтенант, из роты связи.

И ты знаешь, о чем я тогда подумал? Пятнадцать лет ведь прошло. У того Холопова вполне мог быть сын, которому самое время служить теперь в армии. Мог быть? Мог. А был у него сын или не был, этого я никак вспомнить не мог. Все-таки пятнадцать лет прошло — время!

Адъютант у меня вышколенный, из той породы штабных офицеров, которые не только знают, но и любят свою службу. Умеет и козырять, и докладывать, и, когда надо, помолчать умеет.

Молчит адъютант, ждет указаний. А я сижу, думаю, и все мне вспоминается: и как ребята в строю тогда стояли, и на этажи разбитое дымом небо, и бортовой номер «Лавочкина».

Адъютант ждет. Надо полагать, удивляется: действительно, чего бы тут генералу размышлять? Скажи «да», — кликну, скажи «нет», — заверну в роту, и делу конец. Я его понимаю. Под конец он не выдержал — кашлянул. Дипломатично так кашлянул: дескать, я жду, товарищ генерал, чего прикажете?

Я приказал:

— Зови младшего сержанта и пока ко мне никого не пускай.

— Есть! — шелкнул каблуками, пошел к двери, а у самого даже спина удивленная,

И сразу же является этот Холопов. Крепкий парень. Русский, Голова круглая, нос тонкий, с хрящиком. Глаза твердые. Сразу видно - есть в человеке военная струнка.

Товарищ гвардии генерал-лейтенант, младший сер-

жант Холопов, радист первого класса, явился по вашему разрешению.

Доложил, смотрит в глаза. Смело смотрит. И я смотрю.

— Слушаю вас, садитесь.

Не садится. Излагает свое дело. Говорит коротко, толково. Оказывается, парень закончил аэроклуб, хотел поступить в летную школу, подал заявление в военкомат, прошел медицинскую комиссию, но из-за какой-то путаницы в документах его направили не в авиашколу, а в школу радистов. Закончил с отличием. Получил назначение в нашу роту связи. Служит второй год. Командир роты ни о каком летном училище слышать не хочет. Семь рапортов вернул. Вот, собственно говоря, и все. Пришел ко мне просить помощи.

Все доложил в две минуты. Ни одного лишнего слова. Только его последняя фраза мне не понравилась.

— Если вы мне, товарищ генерал, не поможете, тогда уж никто не поможет.

— Что же, по-твоему, выше меня власти нет? Тут я, а дальше сам господь бог?

— Нет, так я не думаю. Я не в этом смысле сказал. Вы летчик. Вы меня понять можете, не по должности, а по душе.

Ну, как тебе такая постановка вопроса нравится? Мне, между нами говоря, нравится.

— Отец у вас, Холопов, есть? — спросил я его.

Так точно, есть.

— Где живет?

— В Торжке, товарищ генерал.

— Чем занимается?

— Парикмахер, товарищ генерал.

— Отец родной?

— Родной.

— А он как на это дело смотрит?

— Положительно, товарищ генерал. Отец говорит: «Раз у человека есть мечта, значит, надо к этой мечте стремиться».

Смотрю я на парня, вижу, как он весь подобрался. Ждет моего слова.

Что говорить?

Приказал ему на следующий день к шести ноль-ноль явиться в мой ангар. Обещал технику пилотирования проверить, А для себя решил: возьму. Из этого летчик будет. Вот видишь: только что приказ подписал — зачислить. Будет летать, уверен.

И совесть моя спокойна. Совершенно спокойна.

*Москва,*



## Земля Цезаря

Земля — это далекое и близкое, неровное и ровное, широкое и узкое, смерть и жизнь.

Сунь-цзы

С лейтенантом Каюровым мы познакомились в госпитале. В этот день я сделал первый шаг без костылей, а он по-настоящему попросил есть. Мы были очень счастливы тогда. Я наконец



поверил врачам, что вернусь в строй и снова буду летать, а он поверил, что выживет.

В этот день мы оба смеялись. Смеялись просто так, без всякой причины. Мы радовались солнцу, ломившемуся в широкие окна, радовались перловой каше с маслом, радовались улыбке хорошенькой медсестры Тамары.

Старший врач подполковник Лихачева сделала нам замечание:

— Потихе, гвардейцы! Тут госпиталь, а не дом отдыха. Вам нужно что? Покой, тишина и питание. — Но она тоже радовалась за нас, и мы это сразу заметили.

— Не сердитесь, Роза Самойловна, — сказал Каюров, — сегодня я опять почувствовал себя человеком. Так что ж, по-вашему, человек не может пошуметь, когда ему хорошо?

— Мы будем лежать тихо, — пообещал я, — только скажите, нас скоро выпишут?

— Не спешите, гвардейцы. Поспешность — первый враг медицины. — И она ушла, шурша накрахмаленным халатом.

Теперь мы подолгу разговаривали с Каюровым. Постепенно я узнал его жизнь и всей душой привязался к этому славному парню.

Каюров умел хорошо рассказывать. Он помнил мельчайшие подробности любого события. И я думаю, что сумею теперь передать его историю без особых погрешностей.

Десант морской пехоты шел на Малую Землю. Чем ближе делался берег, занятый врагом, тем труднее было держать себя в руках.

Перед самой высадкой выпало одно крошечное мгновение, когда смолкли двигатели десантных судов, а черный берег не успел еще расколоться орудийно-пулеметным огнем. Это было очень маленькое, совсем ничтожное мгновение, и все же Каюров успел услышать торопливый приглушенный шепот:

— Цезарь пошел! Теперь нам.

В крошечной темноте Каюров не разглядел солдата, не узнал его и по голосу, только подумал с тоской: «Цезарь! Вот так всегда: для всех в глаза — командир десантного батальона, товарищ майор, за глаза — Цезарь, наш Цезарь! А я всем — товарищ лейтенант, всегда — разрешите обратиться...»

Больше он ни о чем не успел подумать — десант бросился в лютое февральское море.

Проваливались с головой в воду, выныривали, тяжело хвата-

ли воздух мгновенно затвердевшими, какими-то чужими губами, шли. О смерти старались не думать.

Шли и помнили: отступать некуда.

Вместе со всеми глотал соленую воду Каюров, спотыкался, падал, клял волну и прибрежные камни, обдирая ладони... Неожиданно под ногами сухо затрещала галька. Но Каюров не сразу сообразил, что это и есть та самая земля, на которую их должен был привести Цезарь, - в сапогах еще хлюпало...

Девять дней Каюров распорядился своими людьми, вместе со всеми ворочал скользкие глыбы, выкладывая нечто вроде бруствера, обстреливал отведенный их штурмовой группе участок противника; иногда он успевал жевать какую-то еду, которая, казалось, не имела ни вкуса, ни запаха. Л потом — огромная желтая вспышка, заслонившая весь свет, и тишина.

Что бы ни рассказывал Каюров, он всегда упоминал имя Цезаря. Видно, крепко опалил его этот человек...

Каюров помнил, как в самом начале войны, задолго до десанта на Малую Землю, отступал батальон Цезаря.

Люди вконец выбились из сил, загнанные лошади падали на дороге, пушки остались без тяги. Что делать? Искалечить замки и бросить орудия на дороге — спасти людей, отрываться от противника? Цезарь приказал снять стволы с лафетов, взгромоздить их на последние оставшиеся в строю автомашины и везти за собой до тех пор, пока не представился случай ударить по врагу прямой наводкой. Этот немыслимый залп спутал все расчеты противника.

«На выручку русских подошла артиллерия», - решил, видимо, командир части, преследовавшей наш батальон, и начал перегруппировку. Короткая пауза позволила Цезарю выйти из-под удара.

— Ну скажи, ты бросил бы пушки? - с пристрастием допрашивал меня Каюров.

— Чего ты спрашиваешь? Я же летчик и в пушках ничего не понимаю.

— Не хитри. Признайся. Я бы обязательно бросил. Подорвал замки, искорежил прицелы и бросил бы. А Цезарь видишь какой! — И он замолкал и долго глядел в потолок...

Еще Каюров любил рассказывать про оборону в плавнях.

— Людей было мало. Участок — будь здоров. Полку дай бог удержать. А в ту зиму, как назло, даже соленая вода у берега замерзла. Удержи-ка лед, попробуй. Словом, их разведка перла в наш тыл как хотела. И вот вызывает Цезарь помпоза, велит к восьми ноль-ноль собрать все коньки в округе. Помпоза прямо ошалел. Коньки? Какие коньки? На что? А Цезарь свое — все, какие только найдешь. Представляешь, через два дня в плавни вышли наши охотники-конькобежцы. И началось: «языков» хватают пачками. Те ничего не могут понять. Их в штаб приводят, они чего-то о крылатых чертях лопочут и сразу же: «Гитлер капут»...

На оборотных сторонах трофейных карт, на листках из полевых книжек, а когда не было другой бумаги, то на обрывках газет Цезарь всегда что-нибудь чертил. В мирное время он был инженером, и душа конструктора не знала покоя даже в самые трудные дни отступления.

В торопливые наброски, в аккуратные эскизы укладывал он свои мечты о новом оружии. Чертежи Цезарь отправлял в Москву, в Наркомат обороны. Каюров не знал судьбы Цезаревых эскизов, и удивляли его не столько проекты комбата, сколько сам факт их появления,

— Ты только подумай: мороз, жрать нечего, люди махорку с навозом мешают, а он чертит! Был случай, ординарец ему логарифмическую линейку откуда-то притащил. Веришь, он тогда так обрадовался, будто эшелон боеприпасов получил! Объявил ординарцу благодарность. И все эту линейку из кармана доставал. Погладит, полюбуется и обратно уберет. Надо же!..

Каюров часто рассказывал, как готовился десант на Мысхако. Особенно ему запомнилась последняя политинформация, перед самым броском через Цемесскую бухту,



Десантники собрались в сырой, полутемной землянке. Молодой политрук горячо говорил о долге солдата:

— Не пошадим жизни, не пожалеем крови, умрем, но не отступим...

Никто не заметил, как в землянку вошел Цезарь, его услышали и сразу узнали:

— Кто тут о смерти треплется? Перед боем о жизни говорить надо. Что у нас, до войны плохая жизнь была — вспомнить нечего? А после войны жизнь еще лучше будет. С нами или без нас, в конце концов, это не так уж важно. Будет! Возьмите простое дело — виноград. Какие на Мысхако виноградники были, какое вино!.. Ты не хмыкай, Пятихатка, вино не для пьянства придумано — для радости. Вот отвоюем Мысхако, и опять у нас такое вино будет — на выставках в Париже медали получим...

— А я лично, товарищ командир, больше водочку обожаю, — подал голос задетый Пятихатка, пулеметчик, любимец батальона, полный кавалер ордена Славы.

— Образование у тебя ограниченное, вот ты и не можешь понять, что к чему, — откликнулся кто-то из темноты.

— Молчал бы, инженер! Кто вчера перед старшиной пуштым вилял — и всего-то за сто грамм? Я или ты?

Солдаты хохотнули, и сразу пошел гулять по землянке совсем другой разговор — соленый, с задоринкой. А Цезарь отвел в сторонку приумолкшего политрука и шепнул ему — Каюров это отлично слышал:

— Не обижайся, старик! Обедню потом отслужишь, после высадки. Простой разговор — он лучше дух поднимает. Вот так держи. И сам не дрейфь! А я пошел, мне еще на катера нужно. Все равно Мысхако возьмем!..

...Я никогда не видел Цезаря. Но из рассказов Каюрова мог представить себе, какой это был сильный, чистый, настоящий человек. Тем горше было прочитать в газете, что Цезарь убит.

Да, майор, Герой Советского Союза Цезарь Львович Куников был убит на Малой Земле.

Десант выстоял, десант дрался двести двадцать пять дней и ночей и не ушел с завоеванного плацдарма, а Куников не дождался освобождения Новороссийска.

Тогда в госпитале мы с Каюровым твердо решили, что, если только доживем до конца войны, обязательно съездим на Малую Землю. Поклонимся товарищам, погибшим в боях, поклонимся самой земле Цезаря...

И мы сдержали слово.

Была весна, и горы только что зазеленели, когда мы приехали в Новороссийск. Город жил. Освещенный ласковым черноморским солнцем, весь новый, он был совсем неузнаваем — ни развалин, ни следов пожарищ.

В самом центре Новороссийска, на площади Героев, горел вечный огонь, зажженный около могил Героев Советского Союза Куникова и Сипягина.

Мы сняли фуражки и долго стояли молча.

А потом, не сговариваясь, пошли к морю.

Море гремело галькой. То ли оно сердилось, то ли грустило — не знаю.

Мы сидели на теплых камнях причала и атаковали друг друга вопросами. Прожито было за эти годы немало, и, конечно, никакие письма не могли заменить живой разговор, живую улыбку.

Раньше я только знал, что случилось с Каюровым, теперь мне казалось, я вижу, как все было.

В общей сложности Каюрова ремонтировали больше двух лет. В конце концов поставили на ноги. Но в строй он уже не вернулся — врачебная комиссия уволила его из армии.

Сначала Каюрову было очень трудно в запасе.

Он обосновался в небольшом волжском городке. Пошел на завод. В отделе кадров его спросили:

— Ваша специальность?

— Командовал ротой у Куникова, — сказал Каюров.

— У Куникова? А кто такой Куников? Впрочем, теперь это не имеет значения. Ротный — на гражданке все равно не должность.

— Знаю.

— Это хорошо, что сознаешь. Учиться будешь?

— Пойду.

— Пиши заявление.

Он написал заявление и ушел с завода грустный и даже растерянный. Здесь не знали Цезаря, никто не спросил его о таманских плавнях, о десанте на Малую Землю, никто не обратил внимания на два ряда его орденских планок.

«Ротный — на гражданке не должность», — эти слова долго не давали ему покоя. Каюров понимал — слова правильные, и все равно ему было обидно.

Шесть месяцев он дрался за ремесло.

Сначала голова опережала руки. Без особого труда он изучил устройство приборов, которые выпускал завод, а вот руки слушались плохо. Пальцы, безошибочно вслепую разбиравшие винтовку, автомат, пистолет «ТТ», никак не могли привыкнуть к невесомости мелких латунных деталек, к крошечным шурупчикам и нежным пружинкам.

— Ты чего сидишь, как аршин проглотил? — спросил его однажды тихий веснушчатый Артемьев, сосед по сборке. — Подними табуретку повыше, локти сами на стол лягут.

— И эти простые слова почему-то очень запомнились Каюрову. А еще через неделю Артемьев сказал:

— Клади отвертку справа, а выколотки держи слева — так легче, солдат.

Он все замечал, этот молчаливый проворный Артемьев.

Он дал Каюрову свою оправку и научил его сажать в гнездо самую вредную пружину, все время норовившую вылететь в потолок. Он не пропустил дня, когда Каюров впервые выполнил норму.

— Ну что, солдат, чувствуешь себя рабочим классом? Пойдет у тебя, обязательно пойдет.

И действительно — пошло.

Руки догнали наконец голову. Ему сразу стало легче работать. Теперь он уже не думал о том, какую детальку брать левой, какую правой рукой, не вспоминал порядок сборки каждого узла — пальцы делали все это автоматически. А освободившаяся от мелочных забот голова, светлая голова смелого человека, была занята настоящим делом. Голова соображала: как быстрее собрать прибор? Как его упростить? Как уменьшить **вес** футляра?

Каюров нашел сначала одно маленькое усовершенствование, потом другое, третье.

Его даже премировали...

Пока Каюров рассказывал все это, к причалу, оставляя беспокойный, волнистый след па воде, подошел катер. На белой блестящей скуле мы прочли: «Малая Земля».

Каюров улыбнулся.

Дробно постукивая мотором, катерок повез нас вдоль берега. Мы стояли на правом борту, и Каюров объяснял:

— Здесь десант пошел в воду... Здесь потом выгружались танки... Смотри сюда — тут проходил правый фланг...

Над берегом поднялось высокое, еще неясно видимое издалика сооружение. Каюров молча смотрел на берег. Видимо поняв затруднение моего товарища, мальчишка-матрос, все время прислушивавшийся к нашему разговору, сказал:

— На траверсе братская могила. Полторы тысячи наших лежит... Сходите на могилу, дорога туда вся выбитая — сразу

увидите. — И мальчишка поднес замурзанную ладонь к беретке, заменявшей ему бескозырку.

Мы переглянулись.

Минут через десять катерок подвалил к временному причалу, и мы сошли на гремевший галькой берег.

День был рабочий. Пляж пустовал. Только несколько рыбаков с удочками пытались счастье, сидя на шершавых серых валунах. Мы шли медленно, вокруг была прибрежная синь, и ослепительные зайчики дрожали на зеленоватой воде.

За белой пыльной дорогой начались владения совхоза. Светлые домики резко выделялись на фоне зеленых виноградников.

В дирекции совхоза нам с удовольствием показали большие плотные листы бумаги с французскими и венгерскими словами — это были дипломы к золотым медалям. Виноградари получили их на международных выставках. Показали нам и сами медали.

— Помнишь? — спросил меня Каюров, и мне показалось, что я действительно помню последнюю геленджикскую землянку и политинформацию перед штурмом Мысхако,

Потом мы долго бродили по виноградникам.

Где-то у подножия горы Каюров увидел свежую осыпь. Грунт сполз, в мергелях что-то тускло поблескивало. Каюров нагнулся, ковырнул осыпь прутиком, и к его ногам скатилась позеленевшая с одного бока гильза. Он еще ковырнул — скатилась еще одна гильза.

— Сорокопятки, противотанковые, — сказал Каюров, осторожно обтирая медяшки ладонями. — Удивительно, сколько лет прошло, а земля помнит.

— И люди помнят, — сказал я, подумав о братской могиле, увиденной с катера.

— Да. Это правильно. На могилу мы потом пойдем. Сперва мне охота найти блиндаж Пятихатки. Пошли. — И он потащил меня куда-то вниз, ближе к морю.

Над дорогой висел ленивый гул трактора. За первым же

поворотом мы увидели бульдозер, ровнявший новый участок. Серый толстый трактор двигался в легком мареве. Казалось, ему лень ворочать эту пепельную тяжелую землю — перед каждым новым препятствием он громко всхлипывал и начинал ворчать громче.

Мы уже совсем приблизились к трактору, когда Каюров вдруг закричал что-то непонятное, дико замахал руками и ринулся к машине.

Тракторист заметил и, видимо, понял его жесты — трактор остановился.

Перепрыгивая через кочки, Каюров неся к машине.

Прежде чем я сообразил, что произошло, услышал:

— Стой! Стой, черт! Назад!

Тракторист метнулся к ношу бульдозера.

Каюров и тракторист почти столкнулись лбами и одновременно остановились в напряженных, неестественных позах. И тогда я увидел: перед трактором лежала ржавая противотанковая мина.

— Вот земляца, — сказал тракторист, — сколько ни доставали, все дает и дает...

— Противотанковая, — сказал Каюров.

— Ясно. Отойди. Сейчас я ее сделаю.

— Дай мне. Моментом сниму.

— Отойди, — строго сказал тракторист, — посторонним нельзя.

Каюров даже в лице изменился:

— Это кто посторонний? Это я посторонний? Это где я посторонний, на Малой Земле?

— Мы привычной, — сказал тракторист, — пятнадцатый год обезвреживаем. — И он длинно, замысловато выругался. — Отойди, солдат, будь другом, отойди.

Они еще долго спорили.

Наконец тракторист махнул рукой и стал возиться с миной, не обращая внимания на Каюрова.

Потом, когда все уже было кончено и обезвреженная мина валялась на обочине дороги, они неожиданно помирились.

— Как снимаю эту заразу, всегда нашего Цезаря вспоминаю, батальонного нашего, Героя Советского Союза Куликова. Здорово он сказал раз: «Смерть — это не самое страшное!» Понимаешь, как сказал?!

— Это где он сказал?

— Не здесь, в плавнях еще, на Тамани...

— Пятихатку знаешь? — строго спросил вдруг Каюров. — Пулеметчика?

— Ивана Егоровича? Как не знать. Погиб в Румынии.

— Сизова знаешь?

— Фельдшера? Знаю. Он здесь, в Куниковке, живет, на пенсии.

— И Каюрова знаешь?

— Еще бы! Геройский был лейтенант. Помер, говорили, в госпитале. Здесь вот, недалеко, его пришибло...

— Врешь!

— Чего мне врать? Так говорили.

— Врешь! Живой я. Вот я!..

В этот день бульдозер простоял без дела наверняка не меньше трех часов.

Не знаю, как отнесся к этому директор совхоза. По-моему, причина у тракториста была уважительная.

В город мы возвращались к вечеру.

Шоссе из белого стало серовато-сиреневым. Горы утратили четкость очертаний; казалось, они стали меньше и мягче. На пути нам попался лесок, и Каюров долго с недоумением рассматривал рощицу:

— Откуда тут деревья взялись, никак не пойму! Здесь не то что деревья живого не осталось — ни одного кустика не было.

И снова на выручку моему другу пришел случайный попут-

чик. Аккуратный старичок в белом брезентовом плаще, наш сосед по автобусу.

— Извиняюсь за вмешательство, — сказал старичок, — если интересуетесь, могу дать фактическую справку. Когда с Малой Земли армия насовсем уходила, каждый солдат посадил по кустику. Люди говорили, такое завешание командир их сделал — Куников Цезарь Львович, царствие ему небесное. С тех пор сколько лет прошло — лес вот и вырос. Пионерские лагеря здесь живут. И память, конечно, осталась. На вечные времена память.

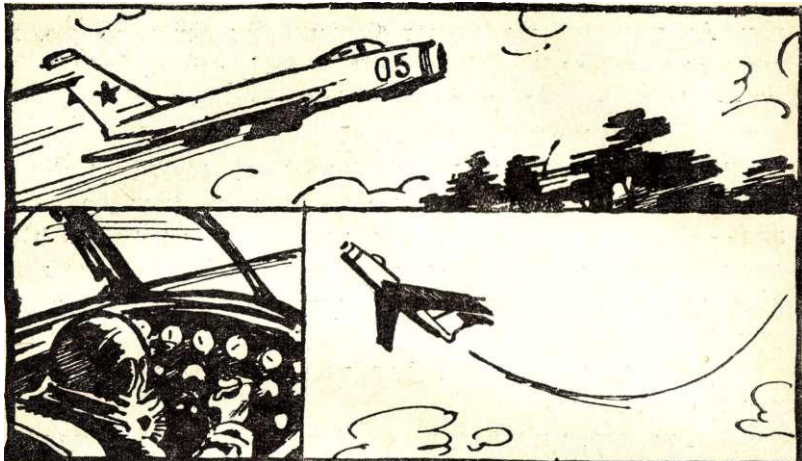
Старичок говорил еще что-то, но слова его уже не доходили до моего сознания.

Я все смотрел и смотрел на шумевший крепкий лесок, и из головы не выходили слова тракториста: «Смерть — это не самое страшное. Понимаешь...»

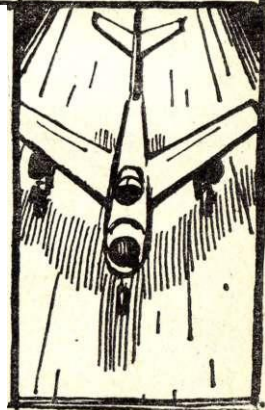
Кажется, я понял.

*Малая Земля — Москва.*





## Задание номер девять



Вас интересует задание номер девять? Странно, очень странно. Это был самый обыкновенный, самый рядовой полет... Конечно, испытательный, но рядовой.

Вы хотите, чтобы я рассказал все по порядку — что делал, для чего, как... И еще — что чувствовал?

Ну, про чувства, извините, про чувства у меня скорее всего ничего не выйдет, но я постараюсь.

Задание было простое: нормально взлететь, набрать тысячу метров, прогнать первую площадку; выйти на высоту пять тысяч — прогнать еще три площадки, каждую на своей скорости; потом на семи с половиной тысячах выполнить площадку на минимальной скорости; потом — четыре пикирования и выходы с перегрузкой пять - пять с половиной.

Теперь мне придется объяснить вам, что такое площадка, минимальная скорость, пикирование и перегрузка. Если я не объясню, что — что, вы ничего не поймете.

Так вот — площадка.

Сначала набираешь заданную высоту, в данном случае — тысячу метров. Регулируешь обороты двигателя точно по заданию: десять, например, или одиннадцать тысяч двести или двенадцать тысяч шестьсот... Устанавливаешь строго горизонтальный режим полета (стрелочка вариометра — прибора, фиксирующего вертикальную скорость машины, — должна умереть на нуле). Курс держишь тоже постоянный (проверяешь себя по компасу). Картушка дыхнуть не имеет права. Кренов, само собой разумеется, никаких (это и по авиагоризонту контролируется, и просто так — визуально). А как поставил все стрелки по нулям — замри. И жди пять минут. Пять минут машина должна лететь не шелохнувшись. В это время приборы записывают: скорость, высоту, обороты двигателя, давление — словом, все-все пишут. Собственно, ради этих записей весь огород и гордится.

Это — площадка. Трудно ли выполнить площадку? Честно говоря, нелегко, но постепенно привыкаешь.

Мой учитель летчик-испытатель Галлай так приблизительно объяснял нам суть техники пилотирования на площадке:

«Вообразите, что вам надо прицелиться сразу из десяти ружей и не в одну, а в десять мишеней. И не просто прицелиться, а так, чтобы поразить все десять десятков, ну в крайнем случае — не выйти из круга девятки. Так вот, это и будет очень похоже на площадку...»

Теперь едем дальше.

Про максимальную скорость вы, конечно, слышали. Это ясно. Чем машина быстрее, тем лучше, и объяснять здесь совершенно нечего.

А что за зверь м и н и м а л ь н а я скорость? Оказывается, зверь очень даже вредный. Вот говорят: «Самолет теряет ско-

рость». Как понимать такое выражение? А так: падает скорость — снижается подъемная сила крыльев, машине делается труднее держаться в воздухе. Имейте в виду: когда скорость кончается совсем, полет прекращается и начинается свободное падение. Таким образом, минимальная скорость — граница. Это уже и не полет, но еще и не падение; это, я бы сказал, ковыляние по небу, рискованное и крайне неустойчивое. Понятно?

Коснусь пикирования.

Сначала объясню формально. Пикирование есть спуск к земле по круто наклоненной траектории. Так в учебниках пишут. А больше всего пикирование похоже на разгон лыжника по эстакаде: земля в лицо, небо куда-то вверх и назад отскакивает. Красота!

Когда прыгаешь с трамплина, больше всего думаешь о толчке. От толчка зависит, на сколько прыгнешь, как пролетишь; словом, все от толчка зависит, а на пикировании от начала до конца думаешь о выводе. Ибо, как сказал один очень просвещенный мудрец, всегда лучше вывести самолет на десять метров выше, чем на полметра ниже... земли.

В школе вы, конечно, производили такой опыт: наливали в ведро воду, привязывали к ручке ведерка веревку, потом начинали вращать посудину в разных направлениях и с радостью убеждались, что вода не выливается.

«Центробежная сила!» — гордо говорил ваш физик, и можно было подумать, что эту магическую силу он вырабатывает лично сам.

Так вот, в полете, на выводе из пикирования, когда машина движется по кривой, самолет работает за ведро, а летчик — за воду. И если воду хорошо прижимает к донышку ведерка, то и пилоту достается...

Что значит, скажем, перегрузка семь?

Это значит, что на пилота воздействует сила, в семь раз превышающая его собственный вес. Вот вы сколько весите? Восемьдесят один килограмм. Очень хорошо. Умножим восемь-

десять один на семь, получается — пятьсот шестьдесят семь. Значит, на вас при перегрузке семь будет давить полтонны с лишним.

Арифметика простая, ощущение сложнее.

Тут у меня страничка заложена. Автор — Джимми Коллинз, американский летчик-испытатель, коммунист, талантище... был... Послушайте, что писал Коллинз про ощущения на перегрузке семь: «Я чувствовал себя так, как будто меня избили. Мне казалось, что кто-то вынул мои глаза, поиграл ими и снова вставил на место. Я чуть не падал от усталости и чувствовал острую, стреляющую боль в груди».

Коллинзу можно верить, он был очень честным летчиком.

А теперь можно рассказать про самый полет.

Сажусь в кабину, быстро осматриваю все хозяйство, команду: «К запуску!»

Позвольте, что значит: «А что до этого было?..» Ну, встал, сделал зарядку, умылся, позавтракал..., Как все люди. Потом пошел на аэродром. Шел медленно. Да, на полеты я всегда стараюсь ходить пешком. Идешь, дышишь, думаешь, настраиваешься на нужную волну...

Кто спортом занимается, знает это чувство: правильно настроишься перед соревнованием — глядишь, и сам себя превзошел, не настроишься — вся сила, все тренировки, все слова мимо.

Нет, никаких переживаний у меня не было и не могло быть. И нечему тут удивляться. Задание номер девять самое что ни на есть простое, сто раз на такие летал. Все ясно. Так что, вы уж разрешите, я лучше сейчас взлечу. Больше я все равно ничего не сумею сказать.

Взлетел. Убрал шасси. Слушаю.

Что слушаю? Двигатель.

Приборы? Приборы тут ни при чем. Вы же утром свое самочувствие не по манометру Рио-Роча проверяете (знаете, такая штукавина с клизмочкой, которой врачи кровяное давление

измеряют), вы же по общему ощущению ориентируетесь. Так что удивляться не приходится: сердце — оно тоже мотор...

Значит, взлетел. Лезу вверх. Нацелился в свой район испытаний, осматриваюсь, слежу за высотомером. С восьмисот метров по-пластунски, можно сказать, на брюхе ползу... В каком смысле на брюхе? Осторожно, значит, плавненько; в заданный режим стараюсь деликатно, без паники сесть...

Самолет любит ласковые руки и нежное обращение. Я вот сам, к сожалению, никогда фехтованием на занимался, так что за точность сравнения поручиться не могу, но думаю, что у хорошего фехтовальщика клинок в ладони тоже живой. Может быть, это слишком красиво — живой клинок? Тогда уж вы, пожалуйста, сами слово подберите. Только смысл пусть останется.

Высоту взял. В район вошел. Гоню площадку.

Стрелочки на нулях замерли. Только одна — на указателе скорости — ползет потихонечку вправо. Значит, машина еще раскачивается, еще набирает километры...

Минута, две, пять — ничего... А дальше чувствую, рука начинает зудеть — от кончиков пальцев до самого плеча. Напряжение все-таки. Встряхнуться хочется ужас как! Нельзя. Не то что встряхнуться — чихнуть не имеешь права: всю площадку загубишь...

И тогда, чтобы отвлечься от этого проклятого зуда, одним, самым малым краешком, одной, самой малой мозговой извилиной я вспоминаю. Сидим в плавнях, ружье на изготовке, шелохнуться боимся; руки затекли, ног не чуем, а утки и не взлетают и к нам не плывут. Пишут на чистой воде виражи и между собой беседуют... И не так мне та утятина, будь она сто раз неладна, нужна, как принцип заедает: что ж это такое — глупая птица чтобы меня переупрямила? Да в жизни такого не будет!..

Ну, это я для сравнения привел. Очень похоже.

А полет, конечно, продолжается своим чередом.

Отработал нижнюю площадку, иду наверх. Что значит

иду наверх? Высоту можно набирать по-разному. И если тебе задано, скажем, скороподъемность машины замерить, то будь любезен все точно сработать. Но в этом полете режим набора не задавался, и я мог спокойно бросить крючок (это мы так боевой разворот называем). Швыряешь машину вверх и одновременно пускаешь в кренчик. Самолет и высоту энергично берет, и быстро разворачивается на сто восемьдесят градусов: если летел на юг, поворачиваешься носом на север...

Примерно на середине крючка включил кислород. Вообще-то я до семи тысяч так, без кислорода, лазал, но это в молодости было, и больше от дурачества, чем от силы.

Альпинисты сразу поймут, для чего кислород. Посидишь в горах даже на трех тысячах метров, и то обалдевать начинаешь — в ушах звон, голова тяжелая, в сои клонит. Кислородное голодание.

Площадки, что на тысяче, что на пяти тысячах метров, в основном одинаково выполняются. Только поправку на инерцию машины надо поточнее брать. С чем бы это сравнить?

Пожалуй, вот с чем: тормозите вы велосипед сначала на сухом шоссе, а потом на мокром... Тут физика явлений, конечно, разная, но ощущение близкое... На высоте тоже промахнуться легче.

Кончил работу на пяти тысячах, лезу дальше.

На фонаре белые кристаллики появились. Потом исчезли. За бортом морозище — сорок шесть градусов. С ума сойти!

К семи тысячам подхожу на малой скорости. Аккуратненько поднимаю нос машины вверх и все время... как бы тут поточнее выразиться... «причувствуюсь» к ней, что ли. Промаханешься — штопорнешь. Конечно, штопора давно уже никто не боится. Просто высоту терять жалко.

Ну, ладно, скорость падает, все хорошо. А в чем же моя задача? Обороты двигателя и угол атаки крыльев я могу изменять как хочу; а скорость — величина производная, и должна быть она самой малой...

Что же получается? Типичное уравнение! И я, летчик, обязан решить его так, чтобы меньшее значение скорости получить было уже невозможно.

Вот я и уговариваю самолет, тяну ему носик кверху, а он то качается с крыла на крыло, то дрожит мелкой дрожью и все время норовит сползти с семи с половиной тысяч. Но вы же помните первое условие игры: раз площадка, значит, высота по линейке.

Наш ведущий инженер так говорит: «Ты мне дай «аш» плюс минус ноль, и это будет именно то, что надо...»

Отработал и минимальную скорость. Надо пикировать.

Вы только не подумайте, что при выполнении задания номер девять мне предстояло что-то там на прочность испытывать, машину в воздухе разваливать... Ничего такого из области занимательной авиации делать я не собирался. Нужно было получить перегрузки пять — пять с половиной и проверить, как на этом режиме срабатывает топливная система, не «подлипает» ли горючее к задней стенке бака. (Вспомните, пожалуйста, опыт с водой, ведерком и центробежной силой.)

Пикирую, как с трамплина лечу. Перед глазами земля. Ничего романтического: лес смотрится буро-зелеными пятнами, поселок — белым рваным пунктиром, река — тусклым, неподвижным серпом...

Неба не видно. Небо — сзади.

Скорость растет, и двигатель противно изменяет голос: вместо спокойного, убаюкивающего баритона по ушам лупит визгливый, с присвистыванием тенорок...

Кажется, пора.

Вжимаюсь спиной в стеганую подушку кресла, попрочнее упираюсь ногами в педали и одним ровным движением беру ручку управления на себя...

Давит. Давит ровно, расчетливо на все клеточки...

Глаза ни черта не видят: только радужные пятна плывут в голове — вспыхивают и исчезают...

Моя рука, которая, кстати сказать, кажется мне в этот момент вовсе не моей, отдает ручку управления чуточку от себя. И сразу же нагрузка исчезает. Тяжести больше нет, глаза видят нормально...

Первый осмысленный взгляд на аксельрометр: скажи, милый, скажи скорее — сколько? И аксельрометр, дай ему бог здоровья, отвечает: пять целых двадцать пять сотых.

Гора с плеч!

Пять есть — первое пикирование не испорчено. Правда, осталось еще три. Но это уже, как говорится, другой вопрос.

А как топливная система?

Вероятно, нормально. Во всяком случае, двигатель перебоев не давал; что касается подробностей, они будут установлены позже, на земле, когда техники расшифруют записи приборов.

Приборы-самописцы фиксируют все: интересующее инженеров давление, уровень топлива и, если потребуется, число бултыханий в баке... Вот для того мы и летаем, чтобы привозить эти записи и убеждаться в полной надежности техники...

Смотрю на часы.

Задание выполнено, а в запасе у меня еще четыре минуты. Выключаю самопишущие приборы и... Впрочем, тут я снова должен кое-что объяснить.

Легкий самолет умеет не просто летать, то есть отрываться в одном заданном пункте и по воздуху прибывать в другой заданный пункт. Легкий самолет умеет еще и пилотировать, точнее, выполнять фигуры высшего пилотажа. Вы, конечно, слышали, что существует петля Нестерова, бочка, вираж... Так вот: будь то петля, боевой разворот, восходящая бочка или иммельман — смысл всех воздушных эволюции один: быстрое, свободное, непринужденное маневрирование в пространстве. Для чего, собственно говоря, это искусство нужно? Я отвечаю. Без него не обойтись в бою летчику-истребителю; без него не отточить технику пилотирования любому другому пилоту. Кстати, мне очень не нравится этот термин «техника пилотирования».



Техники тут как раз не так уж много. И было б куда справедливее говорить: «искусство пилотирования» или «мастерство пилотирования»...

Но я отвлекся.

Итак, у меня остался запас времени: четыре минуты. А в руках была легкая пилотажная машина.

Плавненько ручку к борту... Помогаю ногой, и машина послушно ложится на спину.

Земля торчит над головой, небо оказывается под ногами.

На три секунды задерживаемся в этом положении и тихонечко переходим в пикирование.

Это называется — переворот.

Набираем скорость...

Кто набирает? Не понял, почему «мы»?

Ну, а как иначе сказать? Самолет и я, значит — мы.

Пикируем, набираем скорость. И, когда машина начинает рваться из рук, энергично, рывком задираю ее в зенит.

Теперь земли нет. Кругом одно небо — и впереди, и справа, и слева...

Восходящую бочку надо выполнять очень плавно, чтобы не закрутиться в этом безмерном синем пространстве. А потом, когда бочка будет закончена, надо подобрать ручку на себя и лечь на спину...

Дальше как хочешь — можно завершить фигуру переворотом, а можно и на петлю пойти...

Но не в том дело, какую фигуру к какой привязывать. Темп — вот в чем вся штука! Посмотрите на гимнаста, работающего на перекладине. Бог с ним, какой комплекс упражнений он выбрал, важнее другое: как он владеет своим телом, сколь непринужденно переходит из стойки в оборот и из оборота в стойку... А что такое, в конце концов, пилотаж? Те же упражнения на невидимой перекладине, где на помощь спортсмену приходят тысячи лошадиных сил...

Кажется, я все рассказал. Снижение, заход на посадку и

приземление опускаю — это уже не из задания номер девять, это повседневное...

Вас интересует, почему я все время ссылаюсь на спортивные примеры? Ну что вам сказать?..

Во-первых, мне кажется, что так понятнее; во-вторых, в летной работе очень много родственного со спортом. И в конечном итоге — я в этом совершенно убежден — каждый настоящий летчик всегда на пятьдесят процентов спортсмен...

А про все остальное поговорим в следующий раз. Простите, мне пора. В четырнадцать двадцать — вылет.

*Москва.*



## Мой враг - Редька



I

Мне было пять лет, Фредуку — семь. Мы познакомились во дворе, зимой. Ко мне подкатился толстый мальчишка в новых белых валенках и сверкающих свежим лаком калошах. Смешно выпучивая круглые, как пуговицы, глаза, толстый мальчишка сказал:

— Хочешь, Ленинград покажу?

Как зачарованный глядел я на его новенькие калоши. В блестящих носиках этих удивительных калош отражались сразу два морозных вишнево-красных солнца - в каждом носике свое.



Мальчишка притопывал ногами, и маленькие солнышки, казалось, тряслись от смеха.

— Ты что, глухой? Я спрашиваю: хочешь, Ленинград покажу?

— Нет, я не глухой, я слышу, — сказал я, не отрывая глаз от его ног.

— Ну, хочешь, хочешь? — нетерпеливо скороговоркой повторил мальчишка.

— Да, — сказал я, — хочу.

— Тогда пошли! — И мальчишка повел меня куда-то в глубь двора.

У глухой стены, отделявшей наш двор от соседнего, стоял старенький деревянный флигель. Помню высокое крыльцо флигеля, резные наличники на входной двери, маленькую табличку: «Доктор Шолле» — и старинный механический звонок: «Прошу повернуть».

Вот на это крыльцо и привел меня Фредик.

Он показал на массивную медную ручку, привертнутую к двери, — потемневший лев держит в пасти блестящее узорчатое кольцо — и сказал:

— Высунь язык и лизни кольцо. Понимаешь?

— Нет, — сказал я. — Зачем лизать?

— Вот чудной! Сразу, как лизнешь — Ленинград увидишь. Не веришь, да? Не веришь?

Я посмотрел на круглые возбужденные глаза мальчишки, склонился на его новенькие калоши — солнце сбежало с них, и они стали обыкновенными — и поверил.

Я разинул как можно шире рот, высунул язык и доверчиво приложился к ручке.

Сначала я услышал визгливый, захлебывающийся хохот Фредика, потом почувствовал, что язык мой прилип к кисловатой, обжигающей меди.

Так появился у меня враг — первый враг в жизни.

...Теперь я только по рассказам знаю, что на мой истощенный вой из дому выскочил добрый старый доктор Шолле, что он не дал мне силой оторвать примерзший к металлу язык, а высвободил его с величайшей предосторожностью.

Зато все происходящее позже, вечером, сохранилось в моей памяти так ясно, будто было вчера.

Толстый лысый человек привел к нам в квартиру толстого встрепанного мальчика. Мальчика я узнал — это был мой враг, Фредька. Догадался, что привел его отец — наш сосед по лестничной клетке.

Фредькин отец, потирая большие красные руки и неловко переминаясь с ноги на ногу, говорил моей матери:

— Вот, привел своего паршивца извиняться. Так неудобно, так неудобно — даже слов не нахожу. Вы уж, Елена Яковлевна, простите его, дурака...

— Я что ж, я ведь не пострадавшая, — сказала мама каким-то очень странным, отчужденным голосом.

Большой лысый человек ухватил Фредьку за ухо, развернул его лицом ко мне и строго рявкнул:

— Ну, паршивец, ступай!

И Фредька пошел ко мне. Был он весь взъерошенный, красный, уши у него торчали лопухами, из глаз тихо катились слезы.

— Прости, пожалуйста, прости меня... Я б-б-больше ни-никогда не буду. — И вдруг он полез со мной целоваться.

## II

Мне исполнилось девять лет, Фредьке — одиннадцать. Мы учимся в одной школе. Кстати сказать, в школе его никто не называет Фредиком, по документам его имя — Федор, Федя. Облагораживающее «р» вставила в свое время его мама, женщина томная, очень видная, тяготеющая к европейскому образу жизни.

Мы учимся в разных классах. Федя в четвертом, я в третьем. Встречаемся редко, но все же встречаемся. Мое неудачное «знакомство с Ленинградом» почти забылось. Если говорить языком дипломатов, мы поддерживаем с Федей строгий нейтралитет.

Чем-то он мне даже нравится. Во-первых, он выше меня ростом и сильнее; во-вторых, он видный мальчишка — у него фасонистая прическа, открытое, смелое лицо, взрослые манеры и говорит он, как большой, а я рядом с ним — совершенный заморыш; в-третьих, он умеет всеми командовать, и, что самое главное, ему охотно подчиняются; в-четвертых, он очень хорошо учится; в-пятых, Федька читает такие толстые книги, что можно сойти с ума от удивления, откуда у него берется только терпение; в-шестых...

Нет, всех его преимуществ передо мной я просто не могу перечислить. Преимуществ больше, чем пальцев на руках. Что правда, то правда...

Только что прозвенел последний звонок. Мы выбегаем во двор и орем все сразу так самозабвенно и громко, что даже бесстрашные воробьи ретируются куда-то подальше, в район соседней крыши.

Всё. Уроки кончились. И Мария Васильевна не успела меня спросить. Это же надо, чтоб так повезло!

На радостях хочется совершить что-нибудь совершенно невероятное, но вся беда в том, что я просто не могу придумать, что бы мне такое выкинуть...

И тут, откуда ни возьмись, появляется Федя.

Зорко оглядевшись по сторонам, он небрежно вытаскивает из кармана папиросу, настоящую толстую папиросину, и закуривает. Я лишаюсь языка. Меня прямо-таки сковывает удивление и немой восторг: Федька курит! Я смотрю на него во все глаза.

И вдруг он спрашивает:

- Потянешь разок? - и протягивает мне папиросу,

— Давай, говорю я, — разок с удовольствием.

Я затагиваюсь горьким, удушающим дымом и никак не могу понять, что произошло в следующий момент. Вместо Феди передо мной стоит директор. Сам Алексей Алексеевич.

Алексей Алексеевич говорит:

— Курим, значит? Та-а-ак. Давай сюда папиросы.

— У меня нет па-а-пирос, — по-идиотски заикаясь, отвечаю я.

— А это что?

— Это па-а-пироса. Одна, — говорю я и для большей ясности вытягиваю перед носом Алексея Алексеевича указательный палец.

— Давай спички, — требует директор.

Я выворачиваю карманы, добросовестно демонстрируя, что спичек у меня тоже нет.

— Ясно, — говорит Алексей Алексеевич. — Кто тебе дал закурить?

И это самое страшное. Ну почему, почему так бывает в жизни? Зачем директор, большой и всемогущий человек, хочет заставить меня, маленького и беззащитного перед ним мальчишку, совершить явное, открытое предательство? Зачем? Мне очень хочется сказать грозному Алексею Алексеевичу: «Пожалуйста, ну будьте так любезны, спросите меня что-нибудь еще». Но я боюсь.

Я, кажется, русским языком спрашиваю: кто тебе дал закурить? — говорит Алексей Алексеевич, и я вижу, как багровеют у него щеки и на переносице появляется недобрая складка.

И я отвечаю директору самое нелепое из всего, что можно было ответить. Я говорю:

— Вообще!

— Что? Что — вообще?

— Вообще, — настаиваю я на своем, — люди дали мне закурить. Понимаете? — Меня подхватило и понесло. — Обыкновенные люди! Прохожие... Добрые граждане...

Во дворе делается тихо. Я словно просыпаюсь от этой тишины. Я знаю: сейчас произойдет что-то страшное, может, даже конец света.

Ну что ж! Зато я никого не предал. Я могу умереть спокойно.

— Убирайся сейчас же домой, — тихо говорит Алексей Алексеевич. — И пусть придут твои родители. Понял?

Я все понял только на второй день.

Других пороли ремнем, а меня выпороли железной канцелярской линейкой. Просто у моего отца не было ремня, брюки он носил на подтяжках. А линейка лежала на столе и сама попалась ему под руку...

Федьку я так и не назвал. Понимаете — не мог.

А он сказал мне потом:

Ну и дурак ты, Муха! Сказал бы на меня, а я бы сказал, что ты врешь. Так бы подзапутали, что будь здоров! Подумаешь, какой герой!..

### III

Мне исполнилось двенадцать лет, Федьке — четырнадцать. Теперь он стал считаться большим, а я все еще числился в маленьких. Мы по-прежнему жили в одном доме и учились в одной школе. Жизни наши проходили на параллельных курсах. И, в отличие от геометрических параллелей, периодически пересекались.

Однажды Федя спросил у меня:

— Послушай, Муха, ты смелый человек?

Я не знал, что ответить. Я действительно не знал.

— Ну, если я тебя подсажу к окошку, ты сможешь влезть в это окошко, положить на стол записку и тут же смотаться обратно?

— А кому записка?

— Это неважно. Ну, допустим, Юльке Колодезниковой из седьмого «Б».



— А для чего же лезть в окошко? Можно и так отдать, — попытался возразить я.

— Все ясно! Ты не герой. Найдем кого-нибудь другого, посмелее...

— Ладно, — сказал я, — полезу. Только ты мне скажи, что в записке будет.

— Еще чего! Это тайна. Запомни: проговоришься кому-нибудь — всё. Ты мне не друг и даже не знакомый. На всю жизнь! Ну?

— Ладно. Молчу, — сказал я.

И полез в окно.

Дальше все произошло как нельзя хуже.

Стоило мне ступить в чужую комнату, как открылась внутренняя дверь и на пороге возникла фигура человека в военной форме.

Я обомлел.

На темно-вишневых петлицах затянутой ремнем гимнастерки тускло поблескивали два ромба. Человек был комдивом, в переводе на современный язык это значит — генерал-лейтенантом.

— Здравствуйте, — сказал комдив. — Вы всегда предпочитаете заходить через окно?

— Нет, — твердо ответил я. — Это случайно...

— Интересно рассказываете. Познакомимся? — спросил комдив и протянул мне руку. — Комдив Колодезников. С кем имею честь?

— А я Муха.

— Муха? Это, извиняюсь, что же будет: фамилия или кличка?

— Это прозвище. Я из шестого «А».

— Ясно. И что же вы, товарищ Муха, собирались тут делать?

Положить записку и уйти, — я протянул комдиву сложенную вчетверо тетрадную страничку.

— Так, — сказал комдив. — Поскольку адресат не указан, я полагаю, что могу ознакомиться с текстом?

— Не знаю, — сказал я, — это не я писал.

Комдив развернул листок и стал читать.

И мгновенно лицо его сделалось цвета петлиц — темно-вишневым. Он коротко взглянул на меня и сказал:

— Верю тебе, Муха, что ты действительно не читал этой гадости. Надо быть очень уж испорченным человеком, чтобы, прочтя сие послание, глядеть такими невинными глазами. Не спрашиваю у тебя фамилии автора. Не знаю и знать не хочу. Только уж, пожалуйста, не откажи в любезности, передай ему... — И тут комдив сказал несколько специфических слов, не употребляемых обычно в художественной литературе.

Не задумываясь, он порвал листок и деликатно проводил меня до дверей.

Федьки во дворе не оказалось. Сбежал.

Через некоторое время Федя попросил у меня марочный каталог Ивера. При этом он сказал:

— У твоего отца наверняка есть. Он же знаменитый филателист.

Отец мой действительно собирал марки. И я пообещал Феде узнать, есть ли у нас дома каталог.

— Ты лучше не спрашивай, ты сам погляди: такая толстущая серая книжка. А то спросишь — отец не даст. Знаешь они какие — родители...

Я заглянул в отцовские книги и без посторонней помощи нашел этот самый Иверовский каталог. Ну откуда мне было знать, что цена этой невзрачной на вид книги двести пятьдесят рублей! И как я мог подумать, что на следующий же день подлец Федька без всякого зазрения совести загонит его в букинистическом магазине, а мой отец в первое же воскресенье увидит там и узнает своего бесценного Ивера!

Правда, на этот раз я не стал покрывать Федьку. После первой вспышки отцовского гнева рассказал ему, как все было. И отец мне поверил.

А Федька? Он обиделся! Да-да, обиделся.

— Такой бы загул устроили, а ты проболтался, балда! Сказал бы, что сроду того Ивера в глаза не видел. А то как деточка: «Врать нехорошо. Боженька накажет». Пропадешь ты, Муха. Вот увидишь — пропадешь!

#### IV

Но в ближайшие два года я не пропал.

Мне сравнялось шестнадцать, Федору — восемнадцать. Я благополучно перебрался в десятый класс и поступил в аэроклуб. А Федор стал студентом Института внешней торговли.

Встречались мы теперь совсем редко, главным образом на лестнице, случайно — ведь мы продолжали жить в одном доме.

Впрочем, иногда и пятиминутные встречи запоминаются надолго.

Как-то субботним вечером я возвращался из аэроклуба домой. Было уже поздно, я спешил, В парадном меня окликнул Федор:

— Привет, Муха!

— Привет, - отозвался я и хотел уже пройти в лифт.

— Послушай, это правда, что ты в авиацию наострился? Допустим.

— А можно спросить: зачем тебя туда понесло?

— Интереснось...

— В Чкаловы, значит, метишь или в Громы?

— Ну и что? Что дальше?

— Ничего. Просто интересно. Слушай, а какую зарплату получает, ну, средний, обыкновенный летчик?

Странно, я знал биографию Отто Лилиенталя, подробное описание «Блерио». и «Ильи Муромца», имел кое-какие понятия

об угле атаки крыла и средней аэродинамической хорде, мог вполне вразумительно объяснить назначение лонжеронов, нервюр и стрингеров, а вот какой заработок у летчика — понятия не имел и как-то не задумывался над этим. Впрочем, мое молчание Федор истолковал по-своему.

— Видно, не очень густо платят? Больше на энтузиазм нажимают?

— А разве энтузиазм — это плохо?

Как сказать! Для государства, понятное дело, хорошо. Л вот для мыслящей личности, — он показал пальцем на себя, — это уж не так обязательно. В конце концов, человек живет один раз, и каждому охота использовать отведенный ему срок с удовольствием.

— А если война, если нам придется драться, тогда ты тоже будешь думать о своем удовольствии?

— Дурак ты, идеалист сопливый. Можно воевать шеей, — тут он похлопал себя по загривку, — а можно сражаться головой. Понял? Вижу — не понял. Ну-ну, валяй, покоряй стратосферу, желаю удачи. — И он ушел.

А я так и не смог высказать ему всех злых слов, закипевших у меня в душе. Да-а, это мое горе — говорить я не мастер.

## V

Мы долго не виделись и встретились неожиданно. Шла война. Что ни говорите, а чудеса в нашей жизни случаются, и совсем уж не так редко.

Под Харьковом меня вызвал к себе командир полка.

— Вот какое дело, — сказал майор, — бери в звене управления «У-два» и лети в Обоянь. Посадочную площадку тебе штурман покажет. На три дня отдаю тебя в распоряжение командующего наземной армией. Прилетишь, доложишься, задание получишь у него лично. Ясно?

— Так точно! А как же мой «Лавочкин»... и вообще?..

— Я спрашиваю: ясно? Задание тебе ясно?

— Так точно!

— Давай действуй! Через три дня вернешься. Всё.

В Обоянь я прилетел под вечер. Командующего искать не пришлось. На посадочной площадке меня ожидал адъютант.

— Не завидую, — сказал тоненький, перетянутый ремнем капитан, — совсем даже не завидую вам, лейтенант. Генерал-полковник ждал вас с утра. Так что приготовьтесь к разносу. И, главное, не пытайтесь возражать. Ни-ни! Иван Александрович этого не любит категорически.

Меня ввели в просторный блиндаж.

Над картой колдовал грузный седеющий человек. Он был в генеральских брюках с лампасами и белой нижней рубашке. Китель висел на спинке колченогого стула.

Я доложил.

Генерал-полковник поднял голову, с минуту, наверно, смотрел на меня молча, а потом спросил:

— А почему вы, лейтенант, входите в дверь? А?

Я видел, как вздрогнул сопровождавший меня адъютант. Признаться, я и сам оробел в этот момент.

— Я же русским языком спрашиваю: почему вы входите в дверь, когда у меня в блиндаже есть роскошное окно?..

— Разрешите доложить? — радостно рявкнул я, узнав комдива Колодезникова (хотя особенно радоваться мне было, прямо скажем, нечему). — На этот раз я без записки. Сам собой...

У адъютанта остекленели глаза.

— А ты шустёр, Муха. Шустёр! — сказал командующий и сразу же погасил улыбку.

Дальнейшие события развивались с кинематографической быстротой. Генерал приказал мне немедленно следовать в Щитовку, доставить туда офицера штаба и через полтора часа привезти его назад.

— Загнали в эту чертову Щитовку весь боезапас, а теперь тут хоть горохом стреляй. Умники! Инициативочку проявили...

Сейчас познакомлю с главным инициатором, сейчас явится голубчик!

Дверь отворилась, и голубчик явился. Да, это был Федька. Я же предупреждал — чудеса в жизни бывают. На этот раз «чудо» было в майорских погонах. На лице его отпечатались почти-тельность, огорчение и самую малость — служебный восторг.

— Получайте летчика, получайте самолет, получайте один час тридцать минут в свое распоряжение, майор, — сказал генерал-полковник, — и, если вы не распутаете своих петель, пеняйте на себя. Засаекаю время. Идите.

Мне пришлось «прослужить» под командованием Федьки не полтора часа, а три дня.

Мы мотались с ним по переднему краю. Сначала распутывали «петли», потом что-то куда-то проталкивали, потом передислоцировали какое-то имущество связи, потом «подбрасывали» резервы танкистам и, наконец, слетали на два часа в Белгород. Там, во фронтовом госпитале, лежал раненый начальник штаба Колодезникова, и генерал-полковник приказал доставить ему ведро моченых яблок.

За эти три дня я понял, что Федька в штабе генерала Колодезникова служит кем-то вроде начальника отдела снабжения. Понял, что воюет он действительно головой. При мне, например, он проделал с соседним интендантом такой потрясающий обмен автоматных дисков па мины, которые тут же «перевел» сначала в резину для тягачей, а потом частью в офицерское обмундирование, частью обратно в автоматные диски, что я только ахнул...

Я видел, что Федьку все считают рубахой-парнем, что многие стараются поддерживать с ним добрые отношения, что деятельность его приносит несомненную пользу армии генерала Колодезникова, что сам Федька умен, изворотлив и, главное, доволен собой.

Впрочем, увидел я и запомнил не только это.

На второй день нам пришлось приземлиться в Бродах. Мы опоздали. Штаб дивизии передислоцировался за два часа до нашего прилета.

— Дрянь дело, — сказал Федька. — Рассчитывал тут пообедать, а теперь выходит-великий пост. Надо что-то соображать.

И он ушел «соображать».

Вернулся минут через двадцать:

— Порядочек. Полный порядочек, старик. Местное население, истерзанное фашистской неволей, восторженно приветствует освободителей. В данном случае меня и тебя. Нам пожертвован на обед случайно уцелевший петух! Петух уже сложил буйную голову, сейчас его ощиплют и скоро сложат в чугунок. Со мной, брат, не пропадешь!

— Товарищ майор, — сказал я, — через десять минут я взлечу.

— Ты что, сдурел?

— Нет. Через десять минут я взлечу. Если вы не управитесь за это время, мне придется доложить генерал-полковнику Колодезникову обстоятельства происшествия...

— Какого происшествия?

А вот этого. Сообщить о ваших действиях по изъятию петуха у местного населения, заодно поделиться с ним соображениями о вашем моральном облике вообще и деловых качествах в частности.

— Ну, знаешь, ты просто скотина, Муха!

— Вполне возможно, но я никогда никого не заставлял лизать промерзшие дверные ручки, я никогда не сваливал свою вину на чужие плечи, не продавал не принадлежащие мне книги в букинистический магазин, не писал подлых записок дочкам уважаемых родителей, не комбинировал казенным имуществом, не позволял себе непочтительно думать о своем многострадальном народе...

— Ты трехкопеечный демагог. Это одни слова, где факты?

— Мне не нужны факты. Я взлечу ровно через семь минут.  
— Ну запомни, ты еще у меня поплачешь!  
— Нет. Не поплачу.  
— Ты рассчитываешь на Колодезникова? Смотри, как бы не прошибить. Колодезников сам качается...  
— Нет, я рассчитываю на генерала Токарева.  
— Какого Токарева?  
— А вот на этого, — и я показал Федьке свою кобуру, в которой торчал пистолет генерала Токарева.

Помилуй бог, я вовсе не собирался убивать Федьку, я просто очень разозлился тогда.

Но он принял все совершенно всерьез.

— Подумать только — даже из таких лопухов, как ты, война делает бандитов!

— Это одни слова, майор, а где факты?..

Он промолчал.

Через три минуты мы взлетели.

## VI

Мы встретились снова только после окончания войны. Летом сорок пятого года.

Федька, узнав, что я в отпуске, зашел к моим старикам.

— Слава доблестным Военно-Воздушным Силам! Привет фронтовику и старому другу!

Мне не хотелось огорчать мать, больше всего на свете боявшуюся скандалов, и я сказал:

— Здравствуй, Федор.

Он сделал вид, что не заметил моего подчеркнуто корректного приветствия, и продолжал в том же ключе рубахи-парня, бодрячка-фронтовичка:

— Ну, что скажешь? Где наша не пропадала, а все живем! Сильны мы, брат! Неистребимый народ. Однако не густо тебя звездами осыпали — всего-навсего капитан. Впрочем, теперь это



дело десятое: теперь увольняться надо и хватать гражданскую жизнь в обе жмени. Так, что ли, я гуторю?

— Я остаюсь в кадрах.

— Чкалова будешь замешать?

— Чкалова ты оставь.

— Ну-ну, не ершись, старик! Пойдем-ка ко мне. Покажу кое-что.

Может быть, я бы и не пошел, но мне не хотелось разговаривать с ним при матери.

«Черт с ним, — подумал, — что мне — убавится?» — и вышел вслед за Федыкой.

Не думал я, входя в Федыкину комнату, что хозяин ее сможет меня чем-либо удивить. В конце концов, случай был достаточно ясный. И все-таки за те полчаса, что я провел в его обществе, мне пришлось удивиться, и не один раз.

В комнате стоял диван. Над диваном висел дорогой шелковистый ковер. К коврику были аккуратно приколоты: ордена Отечественной войны первой и второй степени, медаль «За боевые заслуги», медали за оборону Москвы, освобождение Одессы, Бухареста, Праги, за победу над фашистской Германией.

Заметив мой удивленный взгляд, Федыка пояснил:

— Это специально для девиц...

Противоположная стена была изукрашена копеечными картинками полуголых див. Подобные «произведения искусства» я видел во множестве в немецких блиндажах и землянках.

Как Дрезденка? — спросил Федыка и самодовольно улыбнулся. — Но это так — камуфляж. Дело — тут, — и он показал на солидный трофейный кофр. — Гляди! — Федыка доверительно распахнул свой сундук и начал вытрясать его содержимое.

Здесь хранились дюжины три часов, столовое серебро, фарфоровые статуэтки и какие-то более или менее ценные вещи.

— А гвоздь программы — вот! — И Федыка распахнул довольно объемистую шкатулку из темного полированного дере-

ва. Шкатулка была до отказа набита зингеровскими иголками для швейных машин. — Десять тысяч штук! Помножь на двадцать пять рублей — стандартная цена на рынке, — и ты поймешь, какие у меня перспективы.

Я встал.

— Ты куда? — удивился Федька. — Мы же с тобой и за победу еще не выпили?..

Что я мог ему сказать? Любые слова отскочили бы от него, как горох от стенки. Он всегда был и всегда останется моим врагом. Я не верю в перевоспитание врагов, тем более при помощи слов.

Я просто ушел, мечтая лишь об одном — никогда больше не встречаться с Федькой.

## VII

Но встретиться нам пришлось.

Командный состав истребительной авиадивизии, в которой я служил последнее время, был собран в большом зале гарнизонного Дома офицеров. Приняв рапорт от старшего из офицеров, начальник штаба объявил:

— Решением командира дивизии запланированные на сегодня занятия по общей тактике отменяются. Вам будет прочитана лекция на тему «Моральный облик советского гражданина — строителя коммунизма».

Фамилии лектора я не расслышал, уловил только, что читать будет кандидат педагогических наук.

И вот он появился на трибуне. Полный, рано начавший лысеть, уверенный и неторопливый, совершенно новый Федька. Все в нем было новое: и ловко сшитый солидный синий костюм, и округлые движения пухлых белых рук, и манера говорить, чуть растягивая слова, и даже голос — этакий обволакивающий баритон.

Надо отдать ему справедливость — читал он свою лекцию

очень здорово, не заглядывая в бумажки, ловко сопрягая мысли, безошибочно жонглируя примерами. Правда, все, что он говорил, было не ново. Все это мы уже читали и слышали сотни раз. Но в этом его трудно было упрекнуть, ибо, как сказал в свое время Максим Горький, «правда от повторения не портится»...

И все же, когда Федька стал рассуждать о святости дружбы, о преданности высоким принципам, о прямоте и честности, я почувствовал, что зеленею от злости.

Наконец он кончил.

Товарищи офицеры, — сказал Федька под занавес, — я заканчиваю свою лекцию. Отлично понимаю, что я вряд ли сообщил вам что-нибудь принципиально новое, но моя цель была значительно скромней: я пытался, так сказать, систематизировать те познания, которые вы приобрели раньше, как в ходе офицерской учебы, так и в порядке личных занятий. Если с этой точки зрения вы удовлетворены нашей встречей, то мне остается только радоваться. Прошу задавать вопросы.

Я встал и сказал:

— Разрешите вопрос?

— Да, прошу вас, — спокойно ответил Федька, вглядываясь в зал. В зале было полутемно, и он не мог меня толком разглядеть.

— Скажите, пожалуйста, что, по-вашему, я должен ответить юноше, который рассказал мне на приемной комиссии аэроклуба следующую историю. Я буду краток и изложу все в двух словах. Он, юноша, решил поступить на парашютное отделение аэроклуба. Его цель была — проверить свое мужество, испытать силу воли. Юноша рассказал о своих намерениях дома. Отец не одобрил его планов: героическая авиация кончилась, теперь это только работа. Парню было очень неловко перед товарищами, он уже разгласил им свою маленькую тайну и опасался, что теперь его будут подозревать в трусости. Он и об этом сказал отцу. На что отец его заявил: «Запомни, балбес, лучше быть пять минут трусом, чем всю жизнь покойником».

Вот, собственно говоря, и вся история. Молодой человек спрашивал у меня, какого я мнения о его отце? Что, по-вашему, товарищ лектор, следовало ответить мальчику?

Зал настроженно приумолк. Такой уж народ летчики — чуткий. Сразу почувствовали: что-то кроется за моей историей.

— Простите, как ваша фамилия, товарищ?

И тут я не выдержал.

— Какого черта ты спрашиваешь мою фамилию, Федька? — крикнул я и задохнулся от злости.

И Федька великолепно воспользовался мгновенной паузой.

— Товарищ полковник, — сказал он, обращаясь к начальнику штаба нашей дивизии, — я прошу оградить меня от неприличных нападок вашего подчиненного.

И полковник оградил его.

До сих пор в моем личном деле значится выговор за некорректное поведение на публичной лекции...

Нерадостно мне было рассказывать о своем поражении. Что ли говорите, я так и не сумел одолеть подлеца Федьку. Но и не рассказать о своем враге я не мог.

Пусть я проиграл, но мы — все вместе — обязательно должны выиграть. Потому что, если мы не одолеем Федьку, он одолеет нас.

*Пяру.*



## Миллионер Цинцибадзе

Пустыня — всегда загадка.

Надо пролететь над ней десять, сто, а может быть, и всю тысячу раз, чтобы перестать удивляться бескрайним просторам, вечному наступлению мертвых песков, адскому безводью, прозрачной пустоте неба.

Полетные карты пустыни всегда обманывают.

Да и как они могут рассказывать правду, когда русла редких речушек, если такие и попадаются, с легкостью меняют свое направление, а то и вовсе уходят в песок; когда на глазах умирают считанные колодцы, когда кочевья неожиданно срываются со своих

мест и пропадают бесследно. Привыкнуть к пустыне трудно.

Трудно, но возможно. В этом я убедился совершенно точно, пролетав над мертвыми песками около трех лет подряд. Чтобы привыкнуть к пескам, надо крепко дружить с самолетными приборами, особенно с компасом, указателем скорости и бортовыми часами; надо всегда очень точно вычислять маршрут,



внимательно следить за землей в полете и, уж конечно, содержать машину в таком порядке, чтобы, как говорится, и комар носа не подточил. Тогда все всегда будет хорошо.

В это я верил.

Верил и в другое: к пустыне можно приспособиться, можно заставить себя не бояться черных песков, а вот полюбить пустыню нельзя.

В это я тоже верил — и ошибся.

Впрочем, расскажу все по порядку.

Командир отряда приказал мне слетать на дальнюю точку, отвезти два ящика каких-то инструментов, срочные пакеты и корзину яблок. На дальней точке работала группа инженера Цинцибадзе. Искали воду. О Цинцибадзе я был наслышан давно. Говорили, что он крупнейший специалист по бурению колодцев. В пустыне работает много лет — больше половины жизни. Ходили слухи, что за это время он скопил кучу денег — миллион<sup>1</sup> или даже больше, что возит с собой чемодан сторублевков. Рассказывали, что Цинцибадзе не пьет даже пива, не курит, одевается, как рядовой тракторист, и живет бирюком.

И вот теперь, мне предстояло впервые встретиться с этим человеком. Интересно, какой же он?

Вылетел я под вечер. Долго дождался последнего, особо важного пакета, адресованного начальнику поисковой группы.

Мой легкий связной самолет быстро оторвался от полевой площадки, набрал сто метров и развернулся на нужный курс. Я записал время и осмотрелся. Внизу — только бурые пески и редкие рощицы саксаула, наверху — только бледное, вылинявшее небо.

Полет над пустыней — как замедленная киносъемка: все совершается в обычном порядке, только время плетется еле-еле. Хочешь ты того или не хочешь, в таком полете так и тянет

<sup>1</sup> Когда писался этот рассказ, нынешний рубль равнялся десяти старым рублям. (Примеч. автора.)

лишний раз поглядеть на указатель скорости, проверить, не врёт ли.

Два часа над пустыней — не шуточное испытание выдержки...

И, когда эти два необыкновенно длинных часа были наконец на исходе, я чуть опустил нос самолета и увидел прямо по курсу десяток беленьких перевозных домишек-ящичков и скорее угадал, чем различил тоненький прутик радиоантенны.

Подо мной была дальняя точка, здесь жила и трудилась группа инженера Цинцибадзе.

Сел, подрулил к самым домишкам. Поглядел на часы и подумал: «Если ответа на пакет не будет, пожалуй, успею еще засветло вернуться домой, если будет — не улечу, придется ночевать».

Первым подошел ко мне высокий, чуточку сутуловатый человек в выгоревшей, некогда синей, а теперь голубовато-серой спецовке, протянул руку и представился:

Цинцибадзе Константин Михайлович,

Говорил он без всякого акцента, и черные, напоминающие спелые сливы глаза его не показались мне недобрыми. Скорее всего, глаза эти можно было назвать суровыми. Пожимая большую шершавую ладонь Цинцибадзе, я успел заметить, что руки его покрыты густыми темными волосами, но и это не вызывало неприятного чувства — напротив, спокойные руки трудно и много работающего человека внушали симпатию и уважение.

«А черт его знает, может быть, все это врёт — и про миллион, и про угрюмый характер, и про жадность? — думаю я. - Мало ли на свете злых и завистливых языков!»

Цинцибадзе приглашает в свой домик-ящик.

— Отдыхайте пока, — говорит инженер. — В чайнике кокчай. Пейте. А я быстренько посмотрю почту.

Он распечатывает пакеты, а я, налив себе пиалу желтовато-зеленого, острого на вкус чая, разглядываю инженерское жильё.

Два узеньких жестких топчана накрыты серыми армейскими одеялами, на маленьком столе пропасть книг, на одной стене ружье и фотоаппарат, на другой — большая карта пустыни.

Цинцибадзе шуршит бумагами. Я глотаю кок-чай и исподтишка наблюдаю за ним.

У инженера седая голова, хищный восточный нос, совершенно замшевое, темное лицо, иссеченное густой сеткой мелких, еле заметных морщинок. Читая, он все время морщит лоб и беспокойно шевелит пальцами. Я вижу, как Цинцибадзе переворачивает последний, густо испечатанный листок, и вдруг в малюсенький домик, больше всего напоминающий не обычное жилье, а купе жесткого плацкартного вагона, врывается буря:

— Подлецы! Разбойники! Бюрократы! Форма двадцать один им нужна, отчет им нужен, месячный план, схема участка! И все срочно! Только самолетом. Может быть, разрез Эйфелевой башни тоже нужен? А кто деньги платить будет? Я вас спрашиваю, кто об этом должен думать? Мне надоел этот частный банкирский дом Цинцибадзе. Вы думаете, так вечно будет?

Ничего не понимая, я невольно поднимаюсь с жесткого топчана и с недоумением гляжу на бушующего инженера. А он тем временем внезапно наклоняется и рывком выхватывает из-под своей койки старый, обтрепанный чемодан.

— Вот, полюбуйтесь на мою сберкассу, на мой собес, на мою лавочку. Он откидывает крышку, и я вижу, что чемодан до отказа набит сторублевками. — Тут триста семьдесят тысяч. Видите? Я двадцать пять лет в песках. Тут зарплата, полевые деньги, гонорары за книги... Что вы вытаращились, молодой человек? Здесь, в черных песках, я написал одиннадцать книг. Да-да-да! Мой учебник колодезного дела переиздан в Америке. Но почему я должен таскать этот чемодан за собой? Почему я должен выдавать людям зарплату из своей «сберкассы»? Потому что ваши городские бюрократы опять не успели вовремя получить деньги в банке, прозевали, ушами прохлопали... Довольно!



И вдруг буря стихает. Вот так сразу прекращается, как будто бы бурю можно выключить поворотом рубильника.

Цинцибадзе смеется, смеется во все горло:

— Ну и видик у вас, молодой человек, ну и выраженьице... Впрочем, понимаю, догадываюсь, чего вам обо мне наговорили. Дескать, живет там, в пустыне, жадюга, скопидом, миллионер Цинцибадзе. Спит на своих червонцах. Каждый день кассу пересчитывает. Так?

Наверно, это не лучший ответ, но я не нахожу никакого другого и соглашаюсь:

— Примерно так.

— Я знаю! Не первый раз и не первый год слышу. Ну, да наплевать! Деньга мои, не ворованные. Прятать их мне ни к чему. Вот все здесь, без замка лежат. — И он, небрежно захлопнув старый чемодан, задвигает его ногой под койку. — Придется вам, дорогой, ночевать у нас. Буду в город длинную бумагу писать. Найдите моего заместителя Соловьева. Он вам поможет самолет закрепить, со столовой познакомит. А ночевать приходите сюда. Вот койка. Церемоний не признаю.

Соловьев оказывается совсем молодым синеглазым парнем. У него выгоревшие белые волосы. Красно-бурое лицо со смешными коротенькими ресницами. Соловьев рад новому человеку и не скрывает своей радости. Он с удовольствием знакомит меня с точкой инженера Цинцибадзе. Не так уж мала эта точка — в ней собрано не меньше двух десятков домиков. Стены легких, поставленных на лыжи построек обшиты сначала войлоком, потом брезентом, потом стегаными полотнищами; двойные рамы тщательно пригнаны. И все равно защититься от пыли не очень-то удастся. Мельчайший песок пустыни, нежный и невесомый, как пепел, пробивается в самые ничтожные щелки. И все в поселке покрыто тончайшим сероватым налетом.

— Вот видите, чего только не делаем, а толку чуть, — говорит Соловьев, — лезет песок, и всё. Мы привыкли, а машинам плохо. Не успеваем масляные фильтры на тракторах менять.

Соловьев грустно улыбается, и я вполне понимаю его — пустынная пыль мучает не только трактористов, она и нам, летчикам, не дает житья — на земле моторы буквально горят,

Мы говорим о пыли, о коварстве пустынных песков, о капризах страшного ветра — афганца, и я с удивлением замечаю, что Соловьев «старый пустынный волк».

Говорю ему об этом.

Он смеется:

— С мальчишества тут. Отец геологом был, рано меня в пустыню вывел. А кто песков понюхает, того уже в город не сма니шь. В пустыне есть сила — держит!

Мы идем поселком, и вдруг я замечаю на одном из домишек светло-голубой железный ящик. Ящик совсем новый, как будто сегодня из магазина.

— Это что?

— Как — что? Почта, Начальник говорит — раз мы здесь постоянно прописаны, все должно быть как у людей..»

— А пыль?

— Ну, это другое дело! Пыль будет, пока не достанем воду.

— Трудно?

— Конечно.

Соловьеву нравится показывать поселок. Постепенно он входит в роль заправского экскурсовода и, когда мы приближаемся к домику, сплошь залепленному плакатами, весело поясняет:

— А это, прошу обратить внимание, наша стационарная амбулатория. Плакаты призывают бороться за чистоту и культуру быта.

Со стены стационарной амбулатории, запихнув в рот зубную щетку, смотрит на меня жизнерадостный туркмен, смотрит женщина с белой марлевой повязкой на лице, смотрит огромная пучеглазая муха.

— Нравится? - спрашивает Соловьев.

Мне не хочется огорчать этого симпатичного парня, и я

говору, что все Мне очень нравится, а плакаты просто замечательные.

— А теперь я вас сдам Абдуле Мурадову. Захотите плов — будет плов, захотите сметану — будет сметана. У нас столовая не хуже, чем в городе. Эй, Абдула, принимай гостя!

Столовая тщательнее всех построек защищена от пыли. Здесь алюминиевые столики с белыми пластмассовыми крышками, буфетная стойка из толстого гнутого стекла, легкие складные стулья, меню, напечатанное на тонкой бумаге — совсем как на Арбате в Москве или на Невском в Ленинграде.

Молодой туркмен кормит меня удивительным пахучим пловом. Народу в столовой нет, и Абдула Мурадов охотно поддерживает разговор.

— Хорошо летаешь? — спрашивает Абдула. — Сразу нас нашел?

— Сразу.

— Ночевать будешь?

— Придется.

Это хорошо. Вечером приходи кино смотреть. У нас теперь свой аппарат, свой механик есть, во-он на той стенке кино показывает. Обязательно приходи.

Я благодарю повара за плов, за его любезное приглашение, за беседу и, в свою очередь, спрашиваю, давно ли он живет на точке Цинцибадзе,

— Всегда.

— Как, то есть, всегда?

— А так. Начальник пришел, и я пришел. Сначала одна юрта была. Потом трактор два домика еще притащил, потом — еще пять, потом — все. Сколько точка есть, столько я тут живу.

— Нравится?

— Нравится. А когда колодец кончим, тогда совсем понравится. Вода будет! Вода все сделать может, Все! На канале был?

— На Каракумском? Был.

— Видел? Один песок лежал, совсем пустыня. А теперь? Зеленая земля стала — хлопок есть, дыня есть, барашкам хорошо... Вода!

Абдула Мурадов заговорил о Каракумском канале. И я вспомнил эти места: мне пришлось много полетать по трассе канала, и теперь уже никогда не забыть голубой — именно голубой — рукав, что одним взмахом рассекает четыреста километров засушливых, мертвых земель.

Я видел, как пришла вода в пески, видел, как принесла она с собой жизнь.

На берегу Каракумского канала я услышал когда-то удивительную историю.

Это было неподалеку от трассы, у заброшенного теперь колодца Кызылджа-баба. Рядом с колодцем возвышался холм; на вершине виднелась огороженная кривыми сучьями могила.

— Чья это могила? — спросил я у шофера-туркмена.

— По преданию, много-много лет назад здесь схоронили самого Кызылджа-бабу. Он открыл когда-то этот колодец. Очень нужный колодец: караваны приходили к нему на последнем дыхании.

Я представил себе безводную раскаленную пустыню, миражи над песками. И этот колодец, примостившийся где-то на самом краю между жизнью и смертью. Сколько опустевших бурдюков, замученных, исхудавших верблюдов, шатавшихся, еле живых людей перевидал колодец на своем веку?..

Кызылджа-баба давно умер, а могила его охраняется по сей день. И каждый, кто идет или едет мимо, непременно оставляет за оградой или горсть риса, или монетку, или яркий лоскуток, или кувшин с водой. И немудреные эти приношения говорят: спасибо тебе, Кызылджа-баба! Спасибо за воду. Память о тебе живет..»

Вот какую историю помог мне вспомнить Абдула Мурадов. И это было весьма кстати. А почему, я расскажу чуточку дальше.

...В пустыне темнеет сразу. Только что держались сумерки, и вдруг, как будто солнце упало за горизонтом, сразу ночь. Быстро исчезает жара. Небо превращается в черный звездный ковер. Без часов и не понять — то ли еще половина десятого, то ли уже второй час ночи.

Кино кончилось поздно.

Пустыня молчала. Только высоко-высоко в небе, казалось, шелестели звезды, и где-то чуть слышно стрекотал движок походной электростанции.

Я шел спать в домик Цинцибадзе и думал обо всем увиденном за этот короткий летний день.

Мысли были нетрудные, спокойные. Хорошо вот так перемещаться над землей, возить нужный людям груз и всюду чувствовать себя и дома и в гостях сразу.

Цинцибадзе еще не спал. Он, видимо, только что закончил писать и собирался заклеивать конверты.

— Привет, авиация! Накормили? Не обидели? Понравилось?

— Спасибо! Хороший у вас тут народ...

— Плохих не держим. Да и не идет сюда плохой человек. Если только по ошибке проскочит. Но это редкость.

— Странно, у вас тут до ближайшего отделения милиции километров триста, ни суда, ни прокуратуры. Казалось бы, плохому человеку это как раз и надо.

— Как сказать. Мы сами себе и милиция и прокуратура. Народ у нас строгий: видели, без замков живем. Друг за друга держимся. Работа у нас трудная, иначе нельзя.

Настольная лампочка лениво помигала — скоро выключат свет. Но Цинцибадзе, кажется, не замечает предупреждения, он с удовольствием рассказывает о том, как живут и работают его товарищи.

За очень простыми словами инженера открывается вдруг удивительная картина, и я начинаю понимать, что покорение пустыни — это большой, упрямый труд тысяч людей.

Сначала пустыню атакуют разведчики. Они проходят сквозь пески, выясняют обстановку, составляют карты, собирают исходные данные для будущих инженерных проектов.

Потом в пески углубляются первые строители — они «увязывают» бумагу с местностью, выверяют расчеты, закладывают опорные пункты, готовят позиции для генерального наступления. И только после этого в пески вторгаются люди, вооруженные большой техникой. Армия этих людей тянет за собой голубую нитку канала или серую полосу асфальтированного шоссе; она поднимает над желто-серым безводьем веселые стены новых поселков, насаждает зеленые сады, устраивает оазисы...

И всегда, прежде чем на канал приходят паромщики и мирабы, прежде чем на готовом шоссе появятся дорожные знаки ОРУДа, прежде чем новорожденные поселки принимают в свои стены постоянных обитателей, разведчики снимаются с насиженных мест.

Разведка всегда впереди.

Наверно, и в тот день, когда у пустыни будет отвоеван последний гектар, разведчики не успокоятся. И, если на земле не останется больше других пустынь, они все равно не переменят специальности, а пойдут в тайгу, улетят к ледяным берегам Арктики или унесутся еще дальше — куда-нибудь в район Моря Ясности на Луне.

Потому что разведка всегда идет вперед, только вперед!

Настольная лампочка начала тускнеть и скоро совсем погасла.

— Заговорились, — сказал Цинцибадзе, — спать надо. Поздно уже.

— Константин Михайлович, вы давно в пустыне работаете?

— Как сказать — давно или недавно? Почти всю жизнь.

— И вам никогда не хочется в город?

— Иногда хочется. Но как уйдешь, когда здесь столько работы. И потом... — Цинцибадзе вдруг зажигает спичку, подносит ее к большой карте пустыни. — Как от этого уйти?

Я смотрю на желтый, тускло освещенный клочок карты и не сразу понимаю, на что показывает Цинцибадзе.

— Вот здесь, читай.

И я читаю мелкую черную надпись: «Колодец инженера Цинцибадзе».

От этого не так просто уйти, дорогой.

«Колодец Цинцибадзе»! Боже мой, какая знакомая надпись! Но что она напоминает? Ну да, вспомнил — на моей полетной карте, когда я летал на трассе Каракумского канала, точно таким же шрифтом было помечено: «Могила Кызылджа-баба».

Цинцибадзе будто отгадал мои мысли.

— Где-то человек все равно помирает, так пусть уж здесь и «Могила Цинцибадзе» будет. Не возражаю. А теперь давай спать.

Мы лежим молча.

Я никак не могу уснуть.

Завтра будет болеть голова, и в полете, как всегда в таких случаях, испортится настроение. Но я ничего не могу сделать — не спится.

Сквозь двойное стекло маленького оконца видно высокое, бесконечное небо. Кажется, будто звезды прислушиваются к тому, что творится в пустыне.

Слушайте, звезды!

*Каракумский*

*кавал.*



## Наши муже

Сергей Михайлович Фролов был моим товарищем по летной школе. Нам довелось немало послужить и полетать вместе. Сергей погиб в авиационной катастрофе десять лет назад. Его жене Лиде было тогда двадцать два года, дочке Светлане — три.

Да-а, десять лет прошло с того дня, когда Сережка ушел за облака и больше уже не вернулся на аэродром. Целых десять лет! И все равно трудно и горько вспоминать о случившемся.

Первое время я довольно часто заезжал к Фроловым: надо было хоть немного отвлечь Лиду от внезапно обрушившегося на нее горя, надо было помочь ей устроиться, надо было определить Светку в детский садик. Позже, когда Лидя закончила курсы конструкторов-чертежников и, как говорится, утверди-





лась на собственных ногах, я стал бывать у нее реже. Встречались мы обычно в праздники, по случаю именин детей; каждый год девятого апреля — в день Сережкиной гибели — я приносил Лиде и Светлане цветы.

А жизнь тем временем шла своим чередом.

На летное поле нашего испытательного аэродрома конструкторы выкатывали свои новые машины. Мы поднимали эти машины в небо и шаг за шагом учили их летать. И сами учились: владеть новыми высотами, пилотировать на новых скоростях, верить новым приборам...

И все реже вспоминали летчики нашего аэродрома Сергея Михайловича Фролова. Не подумайте только, что Сережу недостаточно уважали или не очень любили товарищи. Просто время делало свое: затуманивало прошлое и все стремительнее уходило в будущее — так всегда бывает.

Но каждый раз, когда кто-нибудь из наших ребят, вернувшись из очередного полета или выкрутившись из внеочередной передряги, говорил: «Эх, жаль, Фролыч не дожил! (Почему-то все называли его Фролычем.) Вот порадовался бы!» — я вспоминал не только Сережку, но и Лиду и Светку и всегда корил себя: «Опять не звонил давно, опять никак не можешь заехать! А еще друг!»

Так и на этот раз случилось. Только я изругал себя за невнимательность и черствость, как позвонила Светлана.

— Дядя Толя? Это вы? Здравствуйте, дядя Толя! Я не знаю, что мне делать. Вы послушайте, сейчас я все объясню. Вы слушаете? Ну хорошо, слушайте. Я вам все расскажу, пока мамы нет дома. Значит, вот. Прихожу я из школы, а Надежда Аркадьевна говорит... Как? Вы не знаете Надежду Аркадьевну? Это наша соседка. Я думала, ее все знают. Но не в этом дело. Я прихожу, а Надежда Аркадьевна мне и говорит: «По-моему, твоя мама сошла с ума. Выходит замуж за летчика во второй раз — это чистое безумство...» Представляете? Мама... замуж... за летчика... А я ж ничего не знаю, я первый раз слышу! Ну,

конечно, Надежде Аркадьевне я этого не сказала, я ей сказала: «А вам-то какое дело?» Тут она как напустится: «Такая и раз-этакая — грубиянка, невоспитанная, жуткий ребенок», — это все я. Но я не стала ее слушать, хлопнула дверью и ушла в комнату... Спасибо, дядя Толя, спасибо, что позвонили. У нас, значит, все хорошо. Все здоровы. Да-а... А вот и мама сама пришла. Хотите с ней поговорить?

— Слушай, Светка, с мамой я потолкую, но наш с тобой разговор не окончен. Я завтра к тебе заеду днем. Поняла? Вот и хорошо. А теперь дай трубку маме.

Мы перекинулись с Лидой несколькими словами, самыми обыкновенными дружескими словами, и я положил трубку на рычаг.

Телефонный разговор окончился, а чувство тревоги не исчезло.

Я стал думать: «Что же, собственно, произошло?»

Вдова моего друга собирается выйти замуж. Сведения непроверенные, но допустим, что они соответствуют истине. Ну и что ж тут невероятного?

Лиде тридцать два года. Молодая женщина. Десять лет она жила только дочкой. Что ж плохого в том, если она устроит наконец свою собственную жизнь? Нет в этом ничего плохого, к дай ей бог успеха и счастья.

А Светлана? Конечно, девочке трудно понять мать. Светке сейчас тринадцать. Педагоги говорят — самый трудный возраст. Светке кажется, что мать отказывается от памяти ее отца, изменяет ей, Светке... Но мало ли что еще может навдумать девчонка!

А тут еще эта Надежда Аркадьевна влезла. Есть же на свете любители в чужой жизни копать! И ловчат еще, как бы побольнее поддеть...

И без всякой связи с предыдущими мыслями я стал вспоминать почему-то Сережку Фролова, моего рано погибшего друга.

В полетах Сережка был Мастером — с большой буквы Ма-

стером. Ясная голова, ум ученого-исследователя, упрямство и беспощадность к себе очень быстро выдвинули его в первую пятерку летчиков нашего аэродрома. А вы знаете, какой у нас народ работает? Со сливок — пенки!

Правда, Сережка был вспыльчив и резок. Это портило ему жизнь, но ведь и на солнце есть пятна. Так, кажется, говорят в таких случаях?

Почему-то мне пришло на память, как незадолго до катастрофы ведущий инженер принес ему проект инструкции по технике пилотирования новой машины. Той самой, на которой Сережка тогда летал. Он прочитал голубую тетрадочку не отрываясь и взорвался на последней страничке.

— Что ты тут написал? Ты понимаешь? Нет, ты вслух прочти, прочти с выражением, пусть все послушают! Читай! Вот здесь читай!

И инженер прочел:

— «На приземлении летчик должен быть особо внимательным и ни в коем случае не допускать высокого выравнивания самолета...»

— И тебе не стыдно? — спросил Сергей.

— А, собственно говоря, почему мне должно быть стыдно?

— Да ты что, за мой счет свою лысину страховать решил? Выходит так: если я завтра разложу твою дурацкую машину на посадке, ты помчишься к Главному и будешь показывать страховочный пункт инструкции? Будешь юлить и повизгивать: а я предупреждал, я обращал внимание, я хороший... А известно ли тебе, что вот уже двадцать лет мне долбят: не выравнивай высоко, не теряй скорость, будь внимательным на приземлении. Спасибо! Но я уже ученый. И что — я? Любой сопливый курсант аэроклуба знает: больше половины несчастий в авиации происходит на посадках. А ты пишешь... Ну для чего? Не фыркай, не строй обиженной физиономии — скажи прямо: для чего написал?

И он поссорился с инженером. Потом их мирили на партий-

ном бюро, и Сережке пришлось извиняться. Да-а, у него был трудный характер.

До сих пор в нашей летной комнате вспоминают, как однажды, выслушав несправедливые нападки заместителя главного конструктора, Сергей протянул генералу свой просоленный в полетах шлемофон и сказал:

Я охотно поменяюсь с вами местами. Докажите на деле, что я неправ...

Сережку обвинили тогда в зазнайстве, летном чванстве и еще в ста грехах. Но он уперся: каждый должен делать свое дело, и пусть генерал не считает себя умнее всех... И снова его мирили. На этот раз мирил сам министр...

Вспоминая своего друга, я думаю: «Ну, если дочка пошла характером в отца, мне предстоит завтра нелегкий разговор».

На другой день я заезжаю к Фроловым.

Открывает двери Светлана. Как выросла, как возмужала девчонка! Ну ни за что не скажешь, что ей всего тринадцать, ни за что!

Мы проходим в комнату, усаживаемся на диване. Не дав мне опомниться, Светлана идет в атаку:

— Я тогда не успела договорить. Мама пришла, а при ней я не хотела. Как же мне теперь жить, дядя Толя? Представляете, он переедет сюда, он будет все равно как папа? А я не хочу, не хочу! И что ж, мне его папочкой называть, да? Ну, уж этого он не дождется! И почему мама мне ничего не сказала? Что я, маленькая? Почему я должна от Надежды Аркадьевны все узнавать? Это справедливо, это честно, это правильно?..

Я смотрю на Светку — до чего же она становится похожей на отца: легкие пепельные волосы, выпуклый лоб, острый, чуть вздернутый нос, складочка на подбородке — вылитый Сергей.

Я смотрю на девочку, и мысли мои разбегаются. Делаю над собой усилие, чтобы снова не удариться в воспоминания. Мне надо действовать, для этого я и пришел сюда. Я должен помочь Светланке.

— Ну, вот что, — говорю я, — давай разбираться. Давай серьезно разбираться. Так нельзя: все сваливать в одну кучу. Вот первый вопрос: ты как считаешь, может ли в принципе — не твоя мама, а вообще женщина — выходить второй раз замуж?

Светланка долго молчит, потом очень неохотно отвечает:

— Вообще, почему ж не может? Может. Это даже по закону разрешается...

— Хорошо. Ставим тогда второй вопрос: когда, по-твоему, женщина может выходить замуж во второй раз?

— Ну, если... если первый раз у нее, допустим, не получилась семейная жизнь или если ее бросил муж, как Надежду Аркадьевну, например... И еще... еще, если она сама очень полюбила другого человека... ну, не своего мужа, а другого... другого...

— Хорошо. Ставим третий вопрос: а разве не может твоя мама очень полюбить другого хорошего, самого для нее лучшего человека?

Светланка становится красной, как помидор, на глазах появляются слезы. Слезы здоровенные, как горошины. Она говорит очень тихо:

— А как же папа?

— Ты знаешь, Светка, твой папа — мой первый друг. Ты веришь, что я не стану предавать папу?

Светланка только молча кивает головой.

— Я скажу тебе так, дочка: он был очень хорошим человеком, твой папа, но его больше нет. Понимаешь, нет навсегда! А мама молодая, красивая женщина, почему же ей не подумать о себе?..

— А я?

— Что — ты? Разве он плохо к тебе относится? Он чем-нибудь тебе не нравится?

— Откуда я знаю, как он ко мне относится, когда я его в глаза не видела! Она ж мне вообще ничего не говорила. Если б

не Надежда Аркадьевна, я, как дура, ни о чем понятия не имела бы до сих пор!

— Ясно. Тут я считаю, что мама неправа. Лида должна вас познакомить. Лида вполне может и посоветоваться с тобой — ты уже большая и обращаться надо с тобой, как со взрослой. Я поговорю с мамой, и, думаю, она согласится, что ошиблась. Только ты мне скажи, Светка, вот что: а если он тебе понравится, ты не будешь рассуждать, как ваша соседка: «Второй раз за летчика замуж — кошмар и безумие!» Замуж ведь не за должность, а за человека выходят. Ты меня понимаешь?

Видно, из всех моих слов Светланка услышала только три.

Он мне понравится? Он? Да вы что, смеетесь надо мной! Как он может мне понравиться? Я его ненавижу... Я его видеть не желаю... я б его...

— Ты ведь с ним незнакома! За что же ты его ненавидишь?

— Все равно - ненавижу и всегда буду ненавидеть! И вообще, лучше бы он разбился...

— Ты в своем уме? Ты дочь испытателя, как же ты можешь желать смерти летчику...

— Могу, могу! Да, я дочь испытателя, погибшего испытателя, и поэтому могу! И пусть он сгорит, взорвется! Пусть, пусть, пусть...

— Сейчас же замолчи! Замолчи, дура!

Ах, черт возьми, я, кажется, говорю совсем не то, что надо, но я же живой человек, и у меня тоже есть нервы, и сердце мое качает горячую красную кровь, а не клюквенный морс. И, между прочим, я каждый день летаю, точно так же, как летал ее отец и летает этот неизвестный мне он...

— Оказывается, ты паршивая эгоистка, Светлана. Мелкая душа. Ты видишь только себя. Все остальное — второй план, все остальное - просто фон твоей расчудесной жизни. Не в отца дочь! Отец твой был другим человеком: он умел любить людей, он жил для людей. Ты знаешь, что во время войны Сергей семьдесят раз садился в тылу у противника — вывозил

на драных планерах раненых партизан? Ты знаешь, что после войны он каждый день летал на новых машинах и, когда надо было, без лишних слов рисковал головой. А для чего? Для того, чтобы другие летчики не оставляли вдов на земле, У твоего отца характер был, прямо сказать, не сахар, но он никогда не пожелал бы смерти другому летчику, если б тот не был врагом, фашистом.

Больше я не знаю, что сказать Светланке, Молчу. И она молчит.

И мы оба, недовольные, взволнованные, сидим на диване и стараемся не смотреть друг на друга. Потом я поднимаюсь, застегиваю молнию на летной куртке и говорю:

— Ну, я поехал, Я поговорю с мамой, а ты мне позвони и заходи. Есть?

— Не знаю, — говорит Светланка. — Зачем мне вам звонить? Чтобы вы опять на меня кричали?

— А почему бы мне не кричать на тебя? Ты учти — я и на твоего отца кричал. Случалось! Вас, упрямых, без крика разве убедишь! Словом, позвони завтра,

Когда?

— Позвони в девятнадцать тридцать. Буду ждать,

Светлана позвонила ровно в семь и пришла через четверть часа.

Сурово сдвинув брови, Светланка еще с порога сказала:

— Мама весь вечер вчера плакала. Эта гадина, эта Надежда Аркадьевна, весь наш разговор под дверьми подслушала. Мама пришла с работы — она ей тут же все программовонила. Мама — плакать.

Я пропускаю мимо ушей странный оборот: «программовонила», я внимательно смотрю на девчонку, напряженно думаю: "Как быть, как быть?" А Светланка продолжает свой невеселый рассказ:

— Мне жалко маму. Я ей никогда не прощу того, что было, но мне ее все равно жалко. Я ей сказала: «Делай, как тебе лучше. Обо мне не думай. Хочешь выходить замуж — выходи. И люби его сколько угодно, и радуйся, а меня отправь к бабушке или в интернат. Я для тебя на все готова». После этого она стала еще сильнее плакать. И сказала, что замуж не пойдет, что мы будем жить, как раньше. Только я все равно вижу — замуж ей охота. А говорит она так, чтобы успокоить меня. Одним словом, жертвует. Я почти всю ночь потом не спала. Думала. Про все думала и про то, как вы меня ругали, тоже думала. Раньше никто не замечал, чтобы я очень плохая была, может быть, у меня в голове не все в порядке стало? От переживаний. А?

— По-моему, в голове у тебя все в порядке. Просто это трудно, Светланка. Это очень трудно.

Что трудно? Я не поняла, что трудно?

Правильно жить трудно. Вот я все эти дни думаю о твоих делах, и знаешь, что у меня из головы не выходит? Мамина жизнь. Ты только представь, какая у твоей мамы жизнь была? Только десятилетку кончила — выскочила замуж. Так? Ничего не скажу: Сергей любил ее, как умел баловал, только очень у него мало времени на семью оставалось. Днем — полеты, ночь — полеты, командировки, неприятности... Он все собирался начинать «новую жизнь». Сколько раз мне говорил: «Вот сдам только машину, заживем с Лидой по-новому. Будем в театры ходить, будем гостей к себе звать, закатимся куда-нибудь — можно в Ленинград, можно на Кавказ или в Крым. Лида ж ничего еще не видела...» Ну, сдал он одну машину, а тут подошла новая... Не успел он с ней развязаться — ты родилась. Мама и оказалась к дому привязанной. А потом были еще и еще машины, было много трудных и срочных полетов... Так и не успел Сережка «новую жизнь» начать. А мама? Десять лет около тебя на виражах ходила. У Светочки корь. Светочку надо в детский садик вести. Светочке надо платье для елки шить.



Все тебе, все тебе! Потом пришло время отправлять Светочку в школу. Хорошо бы ее на море свозить. Светочка слабенюкая, Светочка нервная. И опять все тебе, все тебе! А у человека одна жизнь. Понимаешь — одна-единственная!..

— Что ж мне теперь делать? — спрашивает Светка. — Ну вот вы как считаете?

Спрашивать всегда легче, отвечать — труднее.

— Давай думать вместе, — говорю я и зажигаю настольную лампу.

Мы думаем долго и, ничего путного не придумав, расходимся: Светлана отправляется к своей лучшей подруге — Нине, я иду к Лиде.

Разговора с Лидой не получилось. Лида сразу же сказала:

— Да, было, было... Но я отказалась. Светлана так болезненно переживала... Словом, я сказала: нет. И больше не о чем толковать. Спасибо за внимание. Я понимаю тебя, я знаю, как ты любил Сергея, знаю, что к Светке ты относишься, как к родной... Так что еще раз — спасибо тебе за все... Костя тоже хороший человек, да, видно, не судьба...

— Костя?

— Да, Костя. Я не собираюсь ничего от тебя скрывать, ты его знаешь — Костя Алиханов.

— Слушай, Лида, что ж ты сразу не сказала? Костя Алиханов! Это же совсем другое дело — Костя Алиханов! Подожди, Лида! Помолчи, послушай, что я скажу. Светланку я беру на себя. Понимаешь?.. Костя Алиханов! Все будет в порядке, ты не сомневайся, Лида! Ручаюсь!

— Ты напрасно радуешься, ничего не будет. Ничего. Я лучше тебя знаю Светлану. И потом, я уже решила. Спасибо тебе за все. Поздно уже — иди.

Теперь у меня новая забота: как объяснить Светланке, что за человек Константин Павлович Алиханов.

Конечно, можно начать с того, что Костя летчик-испытатель

первого класса, инженер и даже кандидат технических наук. Но все это, вероятно, уместнее записать в служебной характеристике...

Можно сказать — и это будет чистейшая правда, — что Костя человек невероятного трудолюбия, веселый и остроумный. Впрочем, и это еще не причина, чтобы открывать ему дорогу в сердце девчонки.

А что же тогда сказать?

Может быть, лучше ничего не говорить? Может быть, лучше познакомить ее с Костей? Я уверен — Костя не может не понравиться. Впрочем, тут особый случай, и начинать поэтому надо издали.

Двадцать шестого июня я зову Светланку прогуляться со мной по городку. В семнадцать ноль-ноль мы встречаемся у «Гастронома».

Мы берем курс на реку.

Мы идем очень чинно и говорим обо всем на свете.

В семнадцать двадцать мы выходим на траверс взлетной полосы нашего аэродрома и начинаем подниматься в горку. Я прибавляю шаг. Светланка спрашивает:

— А куда мы, собственно говоря, идем и почему вы вдруг заспешили?

— Я спешу показать тебе чудо. Вон с той площадочки перед лесом ты увидишь настоящее чудо, Светланка.

— Чудо?

— Да.

— И скоро?

— В семнадцать тридцать.

— Оно появляется по расписанию, ваше чудо?

— По плановой таблице.

— По какой таблице? Я что-то не поняла.

— По плановой таблице тренировок к воздушному параду.

Мы входим на площадку, расположенную на краю соснового леса, и останавливаемся.

Светланка осматривается по сторонам, и я вместе с ней еще раз оглядываю такие знакомые ориентиры.

За излучиной реки, упираясь в заливной пронзительно зеленый луг, начинается взлетно-посадочная полоса. Левее широкой бетонной ленты — самолетные стоянки, дальше — глыбы ангаров, еще дальше — пятиэтажный административный корпус, украшенный стеклянным куполом главного диспетчерского пункта. Справа за летным полем — деревушка в две улицы. За деревушкой, чуть на отлете, — старая церковь с высокой и тонкой колокольней.

Наша площадка выше летного поля, выше ангаров, вровень с крестом старой церкви, и поэтому кажется, что взлетная полоса убегает куда-то вниз, будто катится под горку, и все здания представляются куда меньше ростом, чем они есть на самом деле.

— Ну, где же чудо? — спрашивает Светланка.

Я смотрю на часы. Время — семнадцать часов двадцать восемь минут.

Чудо появится через две минуты. Смотри вдоль полосы вперед. Чудо пронесется между заводской трубой и радиомачтой. Видишь трубу?

— Вижу.

— А мачту?

— Тоже вижу.

— Сейчас появится. Осталась минута, даже меньше минуты...

И тотчас между заводской трубой и радиомачтой возникает тоненькая черточка. Она бесшумно скользит над самой землей, На мгновение посредине черточки вспыхивает блестящая точка — это на прозрачный фонарь пилотской кабины наткнулся солнечный луч. Еще секунда, и безмолвная черточка, резко метнувшись вверх, превращается в крестик.

Над центром летного поля пилотирует стремительный боевой самолет.

Сначала машина вертикальной горкой уходит в зенит. Все еще опережая звук собственного двигателя, она оборачивается шестью витками восходящей бочки, потом ложится на спину и отвесно падает к земле.

Раз! — стучает сердце, и нет ста метров высоты...

Два! — стучает сердце, и нет еще ста пятидесяти метров...

Три, четыре... восемь... пятнадцать... Над самой полосой летчик вырывает самолет из пикирования. Машина несется прямо на нас и вдруг опрокидывается на спину. И так со спины точно над нашими головами опять уходит в высокое голубое небо.

Летчик завязывает обратную петлю — все огромное кольцо он описывает в положении вверх ногами — и снова на бреющем проносится над самым бетоном, взлетной полосы, и снова уходит вверх.

Нас хлещут стонущие удары все время запаздывающего звука, мы с трудом успеваем следить за самолетом. Небо стало вдруг совсем маленьким, и трехкилометровая взлетная полоса — маленькой, и пятиэтажный административный корпус — маленьким, только крошка самолет — велик. Это он властвует сейчас над землей, небом, рекой, лесом, над домами и церковью, над нами со Светкой и всеми людьми, задравшими голову, притаившими дыхание.

Машина снова сближается с летным полем.

— Смотри, как он выполнит сейчас уход! — кричу я Светланке.

В тридцати метрах от земли самолет переворачивается на спину. Опрокинутая вниз головой машина продолжает снижаться. До земли остается двадцать метров, пятнадцать... десять... Ниже ангаров, ниже административного корпуса, много ниже наших ног — летчик в перевернутом полете вылизывает землю. Над рекой он поднимает машину в вертикальную горку и моментально скрывается из глаз.

На землю падает оглушительный стон двигателя. Постепен-

но рев затихает, растворяется, и снова над рекой, лесом, аэродромом слышны только жаворонки и далекий сигнал электрички. Будто ничего и не было.

— Ну, — спрашиваю я у Светланки, — чудо?

— Да, — тихо отвечает она и почему-то спрашивает: — А сколько сейчас времени?

— Семнадцать тридцать три, — говорю я и подношу к самому Светланкиному носу громко тикающие штурманские часы.

Вечером я три раза подряд разговариваю по телефону.

Первый разговор с Костей.

— Слушай, — говорит Костя, — я все обдумал. Завтра я пойду к ней, пойду, когда Лиды не будет дома. Поговорим.

— Что ж ты ей скажешь: здравствуй, давай познакомимся, я хочу жениться на твоей маме?

— Зачем так резко? Я скажу, например, так: здравствуй, я пришел проверить газовую плиту, или телефон, или радиоприемник, или стиральную машину... Есть же в доме какая-нибудь техника? Буду ковырять эту технику и разговаривать с девочкой о жизни, о людях... А там посмотрим по обстановке. Ну, как — план?

— Это, конечно, план, Костя, но вся беда в том, что ты не похож ни на слесаря, ни на монтера, ни на мастера из радиотелье.

— Почему?

— Во-первых, ты слишком красивый, во-вторых, у тебя даже для летчика чересчур интеллигентный вид.

— Чепуха! Ты просто не знаешь, какие красивые и интеллигентные бывают на свете монтеры, просто не имеешь понятия! Но так или иначе, я все равно пойду. Ну скажи, чем я рискую? Хуже все равно уже быть не может. Понимаешь?

— Да, это верно.

— Что ты мне еще хочешь сказать?

— Ни пуха ни пера.

— К черту, к черту! Словом, я иду. Иду и трушу. Понимаешь, старик, трушу перед этой девчонкой. Но я все равно иду.

Второй разговор был с Лидой.

— Здравствуй, Толя! — сказала Лида. — Куда ты водил Светланку? Она два часа размахивала руками, гудела и взрывалась, объясняя мне, как крутился какой-то самолет. Девчонка прямо с ума сошла. Сейчас помчалась к Нинке. Представления передо мной ей показалось мало.

— Она осталась довольна, Лида?

— Еще бы! Я же тебе говорю — по-моему, она чуточку да же рехнулась. А что это было?

— Костя пилотировал...

— Толя!

— Да.

— Зачем? Ну зачем ей это нужно?

— А что? Костя будет показывать индивидуальный пилотаж на параде, в Тушино. Сегодня он тренировался. Вот я и решил ей показать. Интересно же!

— Ты ей сказал?

— Что?

— Кто этот летчик?

— Не помню. Честное слово, не помню. Мы очень увлеклись, Лида. И потом, какое это имеет значение? В день праздника его имя назовут по радио, по телевидению, напечатают во всех газетах...

— Я не об этом. Ты же понимаешь, о чем я спрашиваю.

— Нет-нет, не беспокойся, я не сказал, что он — о и.

И не говори. Ты знаешь, я решила: все остается так, как было... Зря ты все-таки потащил Светланку на аэродром. Ну не все ли ей равно, как он летает! Разве это может иметь какое-нибудь значение?

— Ну, милая моя, тут ты неправа! Что значит — все равно? Очень даже не все равно! За один только красивый нос, за одни

только роскошные кудри, за один только безотказный язык нельзя всерьез полюбить человека. Главное есть главное! А что Костя без полетов? Симпатичный, остроумный — согласен, — красивый малый. И всё! А в полетах Костя — явление! Бог! Ты еще сама не знаешь, что он за необыкновенный человечисше. Вот.

Ну, спасибо тебе. Теперь буду знать, что я знакома с самим богом. Я понимаю — твоим оценкам можно доверять. Мне говорили, что недавно тебя утвердили инспектором техники пилотирования...

— Лида...

В трубке загудело отрывисто и коротко. Лида обиделась? А за что, собственно говоря, она могла обидеться?

И третий разговор был со Светланой.

— Дядя Толя? Это вы? Это я, Светлана. Дядя Толя, а как его фамилия? Я хотела сразу у вас спросить и забыла. А теперь Нинка спрашивает» Нинка моя подруга, я сейчас у нее была, — так вот она спрашивает: «А как его фамилия?» А я не знаю.

— Чья фамилия тебя интересует?

— Ну, того летчика, который летал сегодня, когда мы смотрели. Я думала, вы сразу догадаетесь.

— А-а-а! Алиханов его фамилия. Константин Павлович Алиханов. Устраивает?

— Да. Спасибо и простите за беспокойство. Я вам, наверно, очень надоела? До свиданья.

Через два дня после этих разговоров я возвращался с полетов в самом паршивом настроении, которое можно себе только представить. Не буду тут распространяться о причинах. Поверьте уж на слово: когда имеешь дело с новыми необъезженными машинами, когда у тебя под руками пятьсот разных приборов, рычажков, кнопок и прочих органов управления, когда

в машине два десятка радиоустройств и «вагон» автоматической начинки, не каждый летный день бывает праздничным.

Словом, я ехал с аэродрома злой, как сто тысяч чертей, вместе взятых.

Только я собирался свернуть с шоссе к своему дому, как буквально под колеса машины ринулась какая-то девчонка с поднятой рукой. Надо полагать, она «голосовала»!

Тормознул до полного писка. Смотрю — Светланка. Не успел ее даже обругать, как следовало бы, а она уже залезла в машину и строчит длинными очередями:

— Послушайте, дядя Толя, вы только послушайте, что вчера было!.. Может быть, вы спешите?.. Ну, очень хорошо, что вы не спешите, а то я просто не могу не рассказать вам, что было. Так вот. Сижу я дома, вдруг звонок. Открываю двери — стоит на площадке дядька, черный такой, не очень еще старый — лет ему, наверно, тридцать. Я спрашиваю: «Вам кого?» Он говорит: «Мне Фроловы нужны». Я спрашиваю: «Зачем?» — «А у меня наряд, — это он говорит, — радиоприемник осмотреть надо».

Ну, я подумала, подумала и пустила его. Представляете?

Он стал разбирать приемник. И все время со мной разговаривает. Ну такой он веселый, такой веселый, я даже не могу передать! Просто мы все время смеялись.

Он, наверно, больше часа возился. А потом сказал: «Я приду заканчивать работу завтра. Тут надо заменить сопротивление, — он сказал какое сопротивление, только я позабыла название, — а у меня с собой нет такого сопротивления».

Ну, мы попрощались, и он ушел. Я прямо не могла мамы дожидаться, чтобы ей рассказать, какой у нас мастер был!

Когда мама вернулась, увидала разобранный приемник — она прямо ахнула! Оказывается, мама никакого мастера не вызвала и ничего не знает. Я ей говорю: «Ну, такой он черный весь, веселый». Мама молчит, на приемник смотрит. Я говорю: «Ты не волнуйся, он же завтра придет и все сделает. А я тогда спрошу, кто его к нам послал». А мама говорит: «Нет, пожалуй-



ста, без меня никого не пускай. Может быть, этот человек нехороший, подозрительный».

Представляете? Мама на работе. Сегодня он должен прийти, приемник весь разобранный, что мне делать, прямо не знаю. Пускать его или не пускать?

— Пускай, — сказал я, — людям надо верить. И приглядиись к человеку, подумай, каков он... Пригодится...

Двадцать девятого июня я улетел в командировку. Собирался вернуться в середине июля, а вернулся только в конце августа. Так бывает, особенно в авиации.

С аэродрома, не заезжая домой — дома у меня все равно в это время никого не было, — поехал к Фроловым.

Открыла Лида. Смутилась, покраснела. И хотя Лида ничего не сказала, я понял: за время моего отсутствия в доме что-то произошло.

Я вошел в комнату и увидел: за столом сидели Костя и Светланка. Обедали.

Костя подмигнул мне, а Светланка кинулась навстречу, опрокидывая стулья, едва не перевернув весь стол.

— Скорее знакомьтесь, дядя Толя, знакомьтесь: наш муж! — И она потащила меня к Косте, шепча на ходу: — И, пожалуйста, не сердитесь на меня. Я вас очень прошу. Ладно? Не будете? Ладно?

*Керчь — Москва.*



*„Счастливого вам  
пути!“*



Это здорово — взлететь с заснеженного подмосковного аэродрома, пробить четыре яруса лохматых облаков, встретиться один на один с солнцем и через несколько часов очутиться в среднеазиатской весне! Это очень здорово!

И совсем не беда, если в руках у тебя старый, изрядно потрепанный «Ли-2», если полетный лист выписан только в один конец — там, на аэродроме посадки, тебе велено сдать машину в капитальный ремонт, а обратно добираться подручными средствами...

Какое все это может иметь значение, если впереди весна, и одуряющий запах первой сирени, и роскошное цветение черешни!

А если ты летишь еще в неизвестный, прежде никогда не

виданный городок, если ждет тебя в конце маршрута незнакомый аэродром, тогда совсем замечательно.

Шилак встретил нас изумрудным летным полем, теплым ветром и первыми сумерками.

Сдавать самолет в мастерские должен был бортмеханик. Работы ему было дня на два, а я мог провести это время, как мне заблагорассудится.

Еще в Москве я знал, что буду делать в Шилаке: в день прилета улягусь пораньше спать, а на следующее утро чуть свет отправлюсь бродить по городу.

Какое это удовольствие - открывать новые места! Идешь кривой улочкой и не знаешь, что встретит тебя за поворотом: наткнешься ли на древнюю крепостную стену или выйдешь к молодому полю только что построенного стадиона; повстречаешь ли незнакомых людей в пестрых узбекских халатах или вдруг налетишь на старого фронтового приятеля, с которым не виделся целую вечность.

Бродить по новым местам всегда интересно.

Впрочем, при первом знакомстве Шилак ничем меня не удивил и ничем не обрадовал. Городишко оказался маленьким, в меру пыльным, изрядно запущенным, самым что ни на есть заурядным и прозаическим.

Исшагав не знаю сколько уж километров, я забрел в неприемный окраинный духанчик и спросил шурпы.

Пожилая некрасивая официантка поставила передо мной миску горячей, хорошо проперченной еды, положила на стол большую теплую лепешку и, спугнув несвежим полотенцем мух, ушла куда-то за перегородку.

Я остался один. Не спеша ел и не спеша думал.

Не может быть, чтобы мне так и не встретилось ничего примечательного. Не было еще такого случая в жизни, чтобы новый маршрут не принес новых наблюдений, новых неожиданных знакомств, новых радостей. Если уж говорить совсем откровенно, я больше всего на свете люблю свое ремесло — ремесло

летчика — не за головоломные полеты, которые случаются раз в десять лет, не за «схватки» с грозowymi фронтами (увы, эти схватки гораздо привлекательнее выглядят в кино, чем на самом деле), не за романтику... Нет, нет и нет!

Я люблю свой крылатый труд за дороги, которые он мне открывает; за те самые дороги, которым — я верю в это твердо — нет и никогда не будет конца; за те воздушные трассы, что всегда приводят к людям!

От этих мыслей у меня стало веселей на душе и даже жирная шурпа показалась вкуснее.

И стоило так подумать, как в духан ввалилась шумная компания шоферов. Конечно, это были шоферы! Кто же еще ведет себя в любом придорожном буфете, в любой путевой закусочной так, словно он здесь родился и вырос. Кто же еще так громко разговаривает — шоферу всегда кажется, что, если он не перекричит шума мотора, его никто не услышит; кто же еще, кроме настоящего водителя, откажется выпить в пути?

Словом, соседи мои были истинными шоферами — они привычно хозяйничали и галдели в духане, ели жареную баранину и запивали ее светлым кок-чаем.

— Слушай, Адыл, если ты сегодня не сделаешь еще четырех ездов, Матях оторвет тебе голову, — сказал один из водителей, пожилой толстый мужчина.

Голову рвать — каждый дурак может. Пусть он лучше резину в тресте «оторвет», — сказал тот, которого звали Адылом.

— Про резину молчи, Адыл: вспомни, на чем мы до Матяха ездили?

— Это кто — мы? Кому твой Матях резину дал? Кому? Кузьке дал — летчику своему, Ван Ваньчу — механику своему, Королеву — золотому...

Я отодвинул миску.

Ну вот, она и пришла, моя встреча! Дождался.

— Простите, Матяха Владимиром Егоровичем зовут?

У Ивана Ивановича Королева — шрам на лице, заикается немножко? — спросил я у шоферов.

— Точно, — сказал толстый шофер, — Матях Владимир Егорович...

— Ван Ваныч очень даже хорошо заикается, — перебил Адыл, — замечательно заикается. А когда разозлится, вообще ничего нельзя понять, что говорит. Знакомые они вам будут?

— Еще какие знакомые! Матях — бывший командир нашего полка, Королев — старший техник моего звена.

— Хороший мужик Матях, — сказал толстый шофер, — обрадуется земляку.

— Очень авиацию уважает, — сказал Адыл, внимательно рассматривая мою фуражку с белыми летными крылышками. — всю резину авиации рассовал. — И, словно спохватившись, резко переменяет тему: — Гараж близко, совсем близко. За мост перейдешь — сразу увидишь. Красный дом. Ворота открытые. Обязательно узнаешь.

Действительно, я сразу узнал и ворота, и гараж, и, что гораздо важнее, самого Владимира Егоровича Матяха.

Матях был в конторе. Он сидел за облезлым письменным столом, тяжело навалиясь на крышку всем своим большим, грузным телом. Я окликнул Владимира Егоровича. Он поднял голову от бумаг и заулыбался:

— Прилетел?! Молодец!

Он крепко ухватил меня в свои медвежьи объятия. И все повторил:

— Молодец! Молодец! Везет людям — летают! Садись, рассказывай.

Я сел и стал соображать, с чего же начать, что самое важное. Пятнадцать лет — срок немалый. Все было за эти пятнадцать лет — и происшествия, и неприятности, и успехи. Начну, решил я, наконец...

Но начать не пришлось.

В дверь постучали, и на пороге, как я сразу понял, появился неожиданный посетитель.

— Разрешите обратиться, товарищ полковник? — неумело, очень по-штатски произнес высокий худой человек в больших очках.

— Почему, собственно, полковник? Был полковник, кончился...

— Прошу прощения, если напоминание о прошлом вам неприятно, тысяча извинений. Разрешите представиться?

— Слушаю вас.

— Директор астрономической станции Радер. У меня к вам деликатное дело. Должен предупредить, вы — последняя инстанция. Если не встречу понимания у вас, значит, я его нигде не встречу.

Радер перевел дух, протер толстые стекла очков носовым платком сомнительной чистоты и продолжал более уверенно:

— На днях наша станция получила уникальный зенит-телескоп. Прибор прибыл в Шилак по железной дороге. Теперь его надо доставить за перевал... Но прежде всего позвольте сообщить вам о существовании нашей работы.

— Слушаю вас, — сказал Матях и откровенно посмотрел на часы.

— Наша станция следит за отклонением положения полюсов земли. Дело в том, что еще в тысяча восемьсот девяносто восьмом году удалось установить такое принципиально важное явление: полюса не соблюдают постоянного местонахождения. Не буду ссылаться на классические работы покойного академика Берга, скажу только, что средняя площадь отклонения полюсов десять на десять метров. Это в среднем! Но были годы, когда эта величина достигала двадцать шесть на двадцать шесть метров.

— Товарищ Ратнер!

— Радер.

— Виноват, товарищ Радер. Все это очень интересно, но

я не представляю себе, как наша автобаза может повлиять на перемещение полюсов.

— Вы хотите сказать, что десять метров не такая величина, из-за которой стоит разговаривать? Так, к сожалению, думают многие, И это весьма грустное заблуждение! Когда полюс уходит со своего места, смещаются все координаты, А это совсем не пустяк, товарищ полковник. Если вы хотите, чтобы наши ракеты летали туда, куда им положено, тогда не пренебрегайте положением полюса!

— Товарищ Радер! Я ничем не пренебрегаю. Просто не могу понять, что от нас, автомобилистов, нужно.

— Нам нужно, чтобы вы доставили новый, уникальный зенит-телескоп за перевал. Вот что нам нужно!

— Так. Теперь все ясно. Не ясно только, почему вы пришли ко мне. Наша база специализированная. Мы обслуживаем сельское хозяйство. Вам надо к Шустову обратиться.

— Был. Отказал,

— Почему?

— Зенит-телескоп весьма деликатный прибор. Его обязательно надо везти стоймя. Но центр тяжести прибора расположен высоко. — Радер вздохнул. Весьма высоко, товарищ полковник. Шустов говорит, что на спуске за перевалом машина с таким грузом может перевернуться...

— А вы что думаете?

— Я тоже думаю, что это возможно.

— Так почему же вы хотите, чтобы переворачивалась моя машина? Шустова вы жалуете, а на Матяха вам наплевать? Или вы полагаете, что у Матяха другие, особенные автомобили? Это же несерьезно, товарищ Радер.

— Но, товарищ полковник, вы должны понять: нам надо работать! Зенит-телескоп позволит получить самые точные, самые непогрешимые данные. Ни одна астрономическая станция в мире не имеет пока такого инструмента. Я был в городском комитете партии. Секретарь сказал: «Идите к Матяху, Полков-

ник понимает и в координатах, и в науке, и в политике в миллион раз больше Шустова. Если он не возьмется, тогда никто не возьмется». Я пришел к вам не с голыми руками: на этой схеме рассчитано, как закрепить груз, чтобы все обошлось благополучно,

Радер расстелил на столе лист оранжевой миллиметровки, В центре был нарисован наивный детский грузовичок, в кузове возвышался нелепо высокий ящик причудливых очертаний. Все было опутано сложнейшей системой тросов-расчалок. На краях листа аккуратными столбиками чернели цифры. Краем глаза я увидел длинную вереницу тангенсов «фи», синусов «гамма» и еще каких-то тригонометрических значков...

«Вот положение! — не позавидовал я Матяху. — Интересно, что же он будет делать?»

Я хорошо помнил Матяха в роли боевого командира авиационного полка. Знал — генеральским авторитетом его не запугаешь, подхалимажем не возьмешь. Он был надежным летчиком. Рисковал всегда с умом, с осторожностью, никогда не гнался за эффектными победами. Даже в самые трудные дни войны Матях не боялся говорить нам, молодым пилотам: «Помереть и дурак может. Ты его убей, а сам живым вернись и машину приведи целую, без пробоинки, тогда я скажу: герой!»

И еще я знал: есть у Матяха слабость — любит он людей рослых, сильных, красивых. Этакому молодцу — косая сажень в плечах, щеки — кровь с молоком, голос зычный, напористый-всегда навстречу пойдет. А очки на человеке, изысканную речь, беспокойство во взгляде — ох, как не терпел этого Матях!

Радер никак не мог ему понравиться.

Матях очень долго рассматривал схему. В эти минуты он мне еще больше напомнил того, бывшего Матяха — Матяха-командира, склонившегося над картой. Крестики — отметки вражеских аэродромов, крошечные стрелки — изображения зенитных точек, змейки зоны аэростатного прикрытия, — все-все должен был учитывать командир, читавший карту боевой



обстановки, человек, отвечавший за исход каждого вылета, человек, распоряжавшийся нашими жизнями...

— Сколько весит ваша штука? — спросил наконец Матях, отодвинув от себя чертеж.

— Вот, — сказал Радер, пододвигая схему на прежнее место.

— Центр тяжести точно указан?

— С точностью до второго знака, — сказал Радер.

Матях потер лоб.

— Товарищ полковник, вы же рисковали на войне. Разрешите еще раз пояснить вам, что даст зенит-телескоп, когда мы включим его в работу станции...

— На войне я делал то, что мне было положено. Оставьте войну, бросьте меня агитировать, товарищ Радер. Война, война... А при чем тут война? Теперь мое дело совсем другое: хлопок, удобрения, ядохимикаты, коконы. И план мне делать надо — тонна-километры давать, горючку экономить, сбергать резину...

— Вот и Шустов так говорил. Но Шустов ничего не понимает ни в науке, ни в политике. Он механизированный извозчик.

— Оставьте Шустова. Шустов хозяйственник нормальный. Мало в науке понимает? Так он и не собирается в академики баллотироваться. В политике слабоват? Так он в министры тоже не метит.

— Ну ладно, я пойду, — сказал Радер. — Очень жаль, что мы не поняли друг друга.

— Куда вы пойдете?

— Не знаю. И в этом вся трагедия...

— Ну вас к черту, Радер!.. Простите. А краном вашу уникальную машину можно поднимать?

— Можно.

Я посмотрел на Матяха и подумал: а война-то «при чем», еще как «при чем»!

В тесной конторке сидел вовсе не заведующий гаражом, нет! Боевой командир авиационного гвардейского краснознаменного и ордена Суворова первой степени Кингисеппского истребительного полка командовал здесь парадом. Еще минуту назад командир колебался, он придирчиво оценивал обстановку, он спорил сам с собой. Так и должен поступать настоящий командир, потому что лучшие решения — всегда обдуманые решения.

Матях взял телефонную трубку:

— Диспетчерскую. Диспетчер? Сизова ко мне. Приготовьте прицеп пятьдесят четыре-восемнадцать. К шестнадцати ноль-ноль верните на базу автокран. В четырнадцать тридцать соедините меня с ОРУДом.

Вошел Сизов. Это был совсем молодой парнишка. Шея тоненькая, глаза с просинью, удивленные. Вошел, мельком взглянул на Радера, меня он, кажется, и вовсе не заметил, вошел и уставился на Матяха.

— Есть задание, Женя. Трудное, ответственное задание. Надо перебросить через перевал зенит-телескоп. Этот единственный в мире телескоп — вредная штука... Смотри сюда, — Матях ткнул пальцем в радеровский чертеж, — центр тяжести высоко. На спуске машину будет опрокидывать. Наука предлагает нам поставить сложное крепление. Но мы на это не можем пойти. Расчалки и подкосы пришлось бы городить целую неделю. Я решил так: ящик с телескопом возьмешь в кузов, а в прицеп положим балласт. Смотри, что получается. — И Матях быстро начертил схему действующих сил: получалось, что опрокидывающий момент зенит-телескопа уравнивался моментом груженого прицепа.

— Поедешь ночью, Женя...

— Как, то есть, ночью!.. — вмешался Радер. — На этой дороге и днем...

— Здесь командую я, товарищ Радер. Прошу об этом помнить... Поедешь ночью, Женя. По жаре мотор закипит на

втором километре. В четырнадцать тридцать я позвоню в ОРУД — попрошу дать сопровождающего на мотоцикле. Он поедет вперед, обеспечит безопасность на поворотах. Есть вопросы?

— Я один поеду, Владимир Егорович?

— Конечно.

— Спасибо вам! - И Женя первый раз за все время разговора улыбнулся.

— Кто старое помянет, тому глаз вон. Так что ли, Женя? Ну, все. Иди.

— Владимир Егорович, извините, я вам очень благодарен, но водитель... я не могу не выразить сомнения... — Радер посмотрел в глаза Матяху и осекся.

— Если вы действительно хотите, чтобы я вез ваш ящик, ступайте в бухгалтерию и оформляйте наряд. Больше вас ничего не касается. Ну оступился парень — было, ну отстранил я его на месяц от баранки — тоже было, так это мое, а не ваше дело. Вы хотите знать, какой Женя шофер? Талант! Чкалов! — И, обращаясь ко мне, Матях сказал: Помнишь Цаглова? Помнишь, как клевали и его и меня, а какой истребитель из мальчишки вышел? Герой. В жизни не забуду, как он на Алакуртти тогда прорвался. Помнишь? Люблю нахальных, упрямых мальчишек, терпеть не могу тихонь!

И снова поговорить по-настоящему нам не удалось: Матяха вызвали в горсовет.

В гостинице на тумбочке лежала записка от бортмеханика: «Нашу Коломбину сдал. Завтра в 6.00 можно улететь с Костей Пашуканцем. Он идет в Москву. Скоро буду. Привет! Жди».

Все складывалось очень удачно — надо было лететь.

Поздно вечером я позвонил Матяху по телефону — попрощаться и узнать, как закончилась операция с телескопом. Ребячий голосок ответил:

- А папы нету. Папа на перевал поехал,
- Ты не знаешь, там все в порядке? — спросил я.
- Не знаю. Наверно, в порядке. Папа сказал, что он хочет посмотреть, как дядя Женя работает. Вы знаете дядю Женю?
- Знаю.
- Я тоже знаю. Он хороший. Папа его любит. — Мальчонка засмеялся и добавил: — И всегда ругает, как меня!
- Спокойной ночи, сынок, — сказал я. — Завтра утром передай папе привет.
- А от кого?
- Я назвался.
- Про вас я тоже знаю. Вы летчик. Вы еще летаете. Папа мне говорил, что вам жутко повезло. Правда? Я передам привет. Спасибо. Вы уже улетаєте?
- Да. Завтра рано-рано утром.
- Счастливого вам пути! — И вдруг, совсем как его отец, сто раз провожавший меня в путь, мальчонка сказал: — Миллион вам на миллион.
- Он желал мне, маленький Матях, миллиона километров видимости и миллиона километров высоты.

*Ташкент.*



## Дорога

Тебе я расскажу все. Знаю — поймешь. Ты же настоящий летчик.

Началось это неожиданно.

Я вернулся из отпуска, доложил командир эскадрильи: прибыл, готов приступить к исполнению обязанностей. Комэска обрадовался, он сказал, что я вернулся очень кстати. Надо вводить в строй молодых летчиков, а инструкторов не хватает. Ржавский уехал в академию — сдает зачеты, Польшина опять хватил радикулит, Беридзе второй месяц сидит на заводе и, кажется, вообще не собирается возвращаться — нанимается в испытатели. У комэска забот полон рот — один за всех остался.

И он сразу же запланировал мне пять полетов в зону.

Только слетать не пришлось.

Накануне на предварительную подготовку пришел полковой врач. Ты должен его помнить — подполковник Эпштейн. Он



пошуршал плановой таблицей полетов, ткнул пальцем в мою фамилию и сказал:

— Не пойдет. Ему надо еще медицинскую комиссию пройти. Когда все были на комиссии, он гулял.

Комэска стал спорить, он сказал, что скоро сойдет с ума от этой медицины: у него уже глаза распухли — летай тут за всех!) И вообще, если человек пришел из отпуска, то какая может быть комиссия!

Но ты знаешь нашего Эпштейна. Он пропустил все слова мимо ушей.

— Приказ есть приказ. Вы как хотите, а я не могу распечататься на этой таблице. Не имею права.

Короче говоря, вместо аэродрома я попал в госпиталь.

Конечно, я был уверен, что задержусь здесь самое большое до вечера и в следующий же летный день возьму свое, но терапевт велел сделать мне все анализы и еще электрокардиограмму. Потом он долго шептался о чем-то с другим врачом, кажется, невропатологом. И они вместе ушли из кабинета, а я сидел и злился.

Но это было еще не самое худшее. Минут через двадцать терапевт вернулся и сказал с каким-то своим дурацким «нуте-с»:

— Придется, капитан, положить вас на исследование. Нуте-с, одевайтесь пока и ступайте в регистратуру. Ничего страшного у вас нет, но кардиограмма неважная. Нуте-с...

И они содрали с меня штаны. Напялили идиотский больничный халат и загнали в хирургическую палату. Нет, у меня ничего не было сломано, просто в других отделениях не было свободных мест. И мне пришлось лежать в веселой компании — у двоих были повреждены ноги, третьему вырезали накануне грыжу, а около окна ворчал какой-то пожилой интендант, лишившийся аппендикса.

У меня ничего не болело. Но чувствовал я себя хуже всех настоящих больных. Они-то знали, что с ними, а я не знал.

Это была веселая неделя! С утра до ночи меня таскали по

кабинетам, как будто я был не летчиком, а подопытным кроликом. Они сделали мне сто анализов и кучу электрокардиограмм, они «поднимали» меня в барокамере и крутили на дурацкой табуретке, которая будто бы позволяет проверить вестибулярный аппарат.

А потом меня очень торжественно пригласили в кабинет председателя медицинской комиссии и объяснили: ввиду функционального расстройства сердечно-сосудистой системы и чего-то еще и еще, согласно таким-то параграфам и пунктам расписания болезней (надо же такое название придумать — расписание болезней!) от летной работы отстранить...

Нет, я с ними не спорил. Они смотрели на меня, как на кролика. А что может сказать кролик? И потом, они были врачами, а я летчиком. Ты же знаешь - ни один, даже самый лучший врач не может понять, что такое полет. Они разбираются только в порошках, в капельках, они умеют делать анализы и уколы. А больше они ничего не понимают.

Потом меня вызвал командир дивизии. Он хороший старик, на него я не в обиде. Он спросил меня:

- Что будем делать дальше, капитан?
- Жить, — сказал я и изо всех сил постарался улыбнуться.
- Жить — это понятно. Как жить? Вот в чем вопрос.
- Как все.
- Мне нужен офицер наведения. Старший на командный пункт.

— Нет, — сказал я, — это не пойдет.

— Почему?

На аэродроме я не останусь. Смотреть каждый день, как летают другие. Каркать в микрофон: «Стрела-двадцать шесть, довернись вправо на двадцать градусов. Цель впереди и выше...» Не пойдет. Не для меня.

— Мудрый царь Соломон сказал когда-то: «Все проходит». Ты свое отлетал, и я скоро отлетаю. Не может человек летать вечно. Не может.

— Это верно. Только на земле я не буду служить. Не хочу. Увольняйте в запас.

— Подумай, — сказал командир дивизии, — хорошенько подумай.

Меня вызывали к командиру полка и в политотдел, к начальнику штаба округа, к командующему, И все говорили:

— Подумай,

А что я мог придумать? Что? Я не хотел оставаться на аэродроме и каждый день видеть, как наши ребята уходят на задания, сидеть на станции наведения, слушать воздух и повторять: «Все прошло, все прошло, все прошло...»

В апреле меня демобилизовали.

Этот день я очень хорошо помню. Небо было холодное, синее-пресинее, все исчерченное кривыми белыми следами — ребята вели воздушный бой на большой высоте, и инверсионные хвосты мигарей вычерчивали точную схему боя.

Я вышел из штаба с маленьким листочком в руках. Проходное свидетельство. (Тоже, знаешь ли, названьице — вроде расписания болезней!) Покрутил в руках бумаженцию, подумал: «Пятнадцать лет заполнял полетные листы, составлял плановые таблицы, чертил бортовые журналы. Не любил писанину, но мирился с ней — без бумаги, сам знаешь, тоже ведь не полетишь. А тут на вот, радуйся: проходное свидетельство. Куда только с ним проходить? Ну, в райвоенкомат — это понятно, потом в милицию за паспортом, потом в пенсионный отдел. А дальше?..»

Я шел по утоптанной земляной дорожке. Земля была черная, сырая, упругая. Обочина только еще зазеленела первыми тоненькими былинками. Шел и думал: «Это же смешно — в тридцать три года сесть на пенсию и ничего не делать. Ну месяц можно просидеть, ну два, а потом?»

Накануне я поругался с Клавой. Она долго и подробно объясняла, что я зря отказался от наземной работы, что армия сделала из меня человека, а теперь, когда никто не виноват в том, что я вылетался, бросать все и спарывать погоны глупо.



Я сказал Клаве, что она ни черта не понимает в жизни, что мне не нужна ни академия, ни преподавательская должность, что полковничьи погоны мне никогда в жизни не снились и вообще, что раз уж я не могу больше летать, то лучше пойду в шоферы.

Клава расплакалась, обозвала меня черствым эгоистом. И еще она сказала:

— Это позор — долетаться до капитана, а потом идти в шоферы.

Я разозлился, обозвал ее дурой. Этого, наверно, не следовало делать, но так уж получилось.

Клава перестала плакать и замолчала. Мы не разговаривали два дня, и мне совсем не хотелось бывать дома...

Шестого мая в районном отделении милиции мне выдали бессрочный паспорт. Смешно — это был мой первый паспорт в жизни. До армии я не успел получить паспорт. Год жил с временным удостоверением личности, а потом поступил в военное училище — мне тогда только-только исполнилось семнадцать лет.

Да, шестого мая начальник милиции вручил мне первый мой паспорт и сказал:

— С возвращением к гражданской службе. Желаю успеха!

Мне очень хотелось обругать его, но я сдержался и поблагодарил.

А на другой день я купил старенький, потрепанный «Москвич». Я всадил в «Москвичонка» все деньги, полученные при демобилизации. И Клава опять ругала меня. Но я не стал обращать на это внимания, пригнал «Москвичонка» во двор и целыми днями копался в машине.

Автомобиль оказался похожим на самолет. И я с удовольствием разбираю машину по винтикам, заменяю кольца в моторе, мучился с регулировкой тормозов, перебирал сцепление.

«Москвич» занял у меня целый месяц. Наконец, когда все было сделано, я подумал: «Надо бы куда-нибудь съездить».

И предложил Клаве поехать в Крым, к Черному морю.

Она не согласилась. Я уехал один.

В первый день я почти не видел дороги. Ехал и все время прислушивался к мотору. Часто останавливался. То мне казалось, что надо подрегулировать зажигание, то я проверял расход бензина, то заглядывал в радиатор — как вода. Но, постепенно убедившись, что мой серенький «Москвичонок» молодец, что работает он безотказно и бензина расходует не больше положенного, стал смотреть по сторонам.

Шоссе, прострелив зеленый перелесок, вырвалось на полевой простор. Голубоватая даль, неоглядная ширь и домики, как в полете, совсем маленькие: не домики — модели... Шоссе рванулось на подъем, и мне показалось, что мой «серый» полез на небо. И небо было тоже широкое, теплое. А наискось через ветровое стекло скользили очень большие и очень белые облака. Неожиданно где-то над самым горизонтом мигнуло и исчезло звено истребителей. Кто-то тренировался на бреющем. Нет, я не позавидовал им. Чего же зря завидовать, когда с летной работой кончено навсегда...

Я ехал день, ехал два, а дороге все не было и не было краю.

эти дни я сделал одно неожиданное открытие: на земле, оказывается, гораздо больше людей, чем мне казалось прежде. Честное слово.

Что видит летчик с высоты? Города, леса, реки, тонкие лучики дорог. И все это кажется большим мертвым макетом. Очень красивым, очень большим и всегда неподвижным. А тут всюду была видна работа.

В предзакатной фиолетовой дымке поднялся из-за поворота шоссе элеватор. В первый момент элеватор показался глыбой серого слепого бетона. Но стоило подъехать ближе, и глыба оказалась вовсе не мертвой. Вся в опалубке, окруженная голенастыми подъемными кранами, облепленная людьми, глыба жила...

За новым поворотом другая картина. Тихое темнеющее по-

ле. Пшеница до самого горизонта, ни ветерка, ни шороха, будто заштилевшее пустынное море. И вдруг в море засветились огни — фары: одна пара, другая, третья — трактористы начинали ночную смену.

И так всю дорогу — везде люди, везде работа...

Наконец я приехал в Крым.

Ну что тебе сказать? Море было на месте, кипарисы стояли на своих постах, празднично зеленели горы.

Но очень скоро мне стало скучно.

Люди загорали, с ожесточением купались, и все говорили о том, что скоро они вернутся к своему делу, к своей работе. Одни хвалили эту работу, другие, напротив, ругали ее, но у всех она была и ждала их где-то там, за перевалом.

А меня ничего не ждало. И я не знал, о чем говорить со своими случайными попутчиками и пляжными знакомыми.

Словом, в Крыму меня хватило на семь дней,

А на восьмой я увидел исполосованное инверсионными хвостами бледное небо, услышал стонущий звук реактивных истребителей — где-то далеко шли учебно-тренировочные полеты — и понял: здесь мне не житье.

И уехал.

Снова была дорога.

Длинная, бесконечная лента асфальта с редкими объездами, с бесконечными обгоняющими «Победами» и многоместными свистящими скоростными автобусами, с непрерывными встречными километровыми столбами. Столбики молчаливо докладывали, сколько еще осталось до Москвы.

Проехать надо было много — больше тысячи километров.

На тысяча седьмом километре, понурившись, стоял такой же серенький, как и мой, «Москвичонок». Только был он с виду постарше, пооблезлей.

Два парня раскинули около машины брезент и ковырялись на нем с какими-то железками. Я остановился.

— Привет! Что случилось?

— Шатун полетел.

— Что-о?

Шатун третьего цилиндра. Вот видите, баббит выкрошился, и подшипник застучал.

Только теперь я повнимательнее разглядел автомобиль и его хозяев. Машина была латанная-перелатанная, будто ее вытащили со свалки. А хозяева — совсем молодые ребята. Один сухощавый, дочерна загоревший, другой курносый и краснощекий.

Мы познакомились.

Владельцы автомобиля оказались студентами Московского электротехнического института. Списанный «Москвич» они купили вскладчину, отремонтировали и теперь, совершив турне по югу, возвращались в Москву.

Худого и высокого звали Володей, курносого крепыша — Андрюшей.

— Ну и что же вы, братцы, собираетесь делать? — спросил я ребят.

— Выскребем остатки баббита, подложим в головку ремень и попробуем дотянуться до первой эмтээс, — сказал Володя.

— У нас есть новый шатун, но, чтобы его поставить, нужен токарный станок. Расточить надо. Понимаете? — сказал Андрюша.

— Понимаю.

Володя с жадностью посмотрел на мой брючный ремень и торопливо отвел глаза.

— А ремень у вас из портупей? — спросил Андрюша.

— Из портупей.

— Хорошая кожа. Можно даже сказать — замечательная кожа! Спиртовая.

— Не болтай, — сказал Володя. — Достань лучше шабер из-под сиденья.

Я расстегнул ремень, прикинул, насколько его можно укоротить, не рискуя потерять штаны, и полез в карман за ножом.

— И вам не жалко? — спросил Андрюша, вынырнувший откуда-то из-за открытой дверки.

— Спасибо, — сказал Володя.

Два часа мы налаживали машину. Попробовали запустить, и, как ни странно, мотор заработал нормально — без стука и тряски.

И тут выяснилось, что ребята едут втроем. На звук мотора из-за кустов вышла девушка. Нас познакомили. Девушку звали Катей. Девушка была очень обыкновенная, совсем молодая, некрасивая, в простеньком ситцевом платьишке.

Дальше решили ехать вместе. Ребята тронулись первыми, я следом.

Все шло как нельзя лучше, но моего замечательного спиртового ремня хватило ровно на тридцать километров. Кожаный подшипник размолотило, и мотор опять застучал.

Все пришлось начинать сначала: вскрывать мотор, вытаскивать шатун, приспособливать подшипник. Только теперь Володя почему-то нервничал. Отворачивая моторные гайки, он то и дело рывкал на Андрюшу и все время посматривал на часы.

— Надо же, и всего-то семи километров до элтээс не хватило. Семи — точно помню, — сказал Володя и опять посмотрел на часы.

Я предложил заночевать, напомнил было, что «утро вечера мудренее», но Володю это не успокоило. Он отвел меня в сторону и зашептал:

— Кажется, нам грозит катастрофа. Понимаете, Кате надо, — он снова посмотрел на часы, — через шестнадцать часов тридцать минут быть в Москве, на работе. Мы очень виноваты. Подбили девчонку ехать с нами на машине. Ну да, мы познакомились там, в Крыму. Мы продали ее билет на поезд, деньги проели, а теперь... У нас осталось восемьдесят пять рублей — на бензин и на хлеб как раз. Автобусом ее уже отправить не на что. Она молодец — не жалуется, молчит. Только очень волнуется. Понимаете, на работе человек первый год. После

десятилетки сразу устроилась в Академию наук кем-то вроде библиотекаря. Если опоздает — уволят... А она же вовсе не виновата. Виноваты мы...

Невольно и я посмотрел на часы. Действительно, до начала Катиной работы оставалось шестнадцать с половиной часов. По старой летной привычке, я быстро прикинул путевую скорость — получалось много. Чтобы не опоздать, надо было идти без остановок и держать на спидометре не меньше шестидесяти. Трудно.

— Если бы не шатун, я бы успел, — сказал Володя.

— Давай Катю на борт. Довезу, — сказал я.

Пока Катя вытаскивала из багажника свой чемоданчик, я нашел в машине подходящую веревку, подвязал брюки и отдал остатки ремня Андрюше.

— Ой, как же вы? Такой хороший ремень...

— Спасибо, — сказал Володя. — Постарайтесь, пожалуйста...

— В восемь сорок пять мы будем на Калужской. Ну, чего ты на меня смотришь? Запиши телефон — приедете, позвонишь и убедишься.

Он записал телефон:

— А как вас спросить?

— Гвардии капитан, — по привычке сказал я и назвал свою фамилию.

Как ни странно, воинское звание произвело на него успокаивающее впечатление. И тогда я добавил:

— Военный летчик первого класса, истребитель. Теперь легче?

— Спасибо, большое вам спасибо!

Я махнул ребятам на прощание и тронулся в путь. Катя молчала.

— Стрелочка спидометра остановилась на цифре «70». «Москвичонок» бежал резво. Как обычно, я заметил по часам время вылета... то есть не вылета, а старта, прикинул в уме маршрут,

разбил его на участки и точно рассчитал, когда мне нужно быть в Харькове, когда проскочить Белгород, когда прибыть в Мценск,

Дорога, дорога, дорога!

Сегодня ты была совсем такой же, как неделю назад, и все же я не узнавал тебя. Тогда я ехал неизвестно куда и неизвестно зачем, а теперь я знал все совершенно точно: позади остались хорошие ребята, я обещал им не опоздать, впереди была Москва, Калужская улица, Катина работа...

Через час пошел мелкий спорый дождик. Асфальт быстро почернел и стал скользким. При любых других обстоятельствах я бы, конечно, снизил скорость, но тут я только вывел машину строго на середину шоссе и, не снижая оборотов мотора, продолжал гнать.

— Слушай, Катюша, обстановка меняется. Ехать, сама видишь, трудно. Ты должна мне помогать, иначе...

— А что надо делать?

— Ничего особенного. Рассказывай что-нибудь, если умеешь — пой...

— А это зачем?

— Когда дорога серая и скучная, шофера тянет в сон. Понимаешь? Спать мне нельзя: впереди у нас, — я посмотрел на часы, — еще четырнадцать часов хорошей езды.

Катя начала послушно рассказывать. О том, как училась в школе, как срезалась на экзаменах в медицинский институт, как искала работу. Она хорошо рассказывала, только слишком часто перебивала себя.

— Неужели вам это интересно? А вы не заснете от моих разговоров? Я вас не заболтала?

— Мне интересно, — каждый раз говорил я, — рассказывай, Катюша.

И она продолжала:

— Сначала в библиотеке я чувствовала себя плохо. Приходит академик Шелестов, шутит, рассказывает какую-нибудь

историю, а как протянет заявку, у меня прямо темно в глазах делается. Ну ни одного слова не могу прочесть — почерк как иероглифы, А сказать боюсь. Или старик Брагин, он знаете какой? Один только раз переспросишь — сразу кричать: «Некогда мне здесь время терять! Помирать и так скоро. Извольте, барышня, поторопиться». Я от него, наверно, сто раз плакала... Вам еще не надоело слушать?

— Нет, не надоело, Катюша, рассказывай.

— Ну вот, сижу я раз зареванная. Только что Брагин ушел. Нашумел и ушел. Вдруг входит Евгений Федорович. Он ученый секретарь физического института. Посмотрел на меня и спрашивает: «Это что у вас с глазами?» Я уж не знаю, как это получилось, все ему рассказала. Но Евгений Федорович не стал меня жалеть, он сказал, что бояться стыдно, что надо быть смелой, и еще он сказал: «Жизнь трусливых не любит. Человек должен знать, чего он хочет. Хуже нет, чем в угловых жильцах ходить. Чувствуй себя хозяйкой!..»

— Ты хорошо рассказываешь, Катюша, — сказал я. — Только давай лучше споем теперь.

И мы пели в два голоса подряд все песни, которые знали.

Стемнело. Я включил фары. И лишь тут понял, как сильно хлещет дождь. Черное шоссе блестело и пузырилось, по обочинам поднимался легкий парок. На поворотах машину заносило, и надо было все время быть начеку.

Мы ехали уже девять часов подряд. Сделали только две коротенькие остановки для заправки. Закусили на ходу. Катя, видно, сильно утомилась, ее клонило ко сну.

А ливень усиливался. Несколько часов подряд нас никто не обгонял. И встречных машин попадалось все меньше и меньше.

Катя заснула. Я и сам чувствовал, что не прочь бы свернуть с дороги и хоть полчасика подремать. Взглянул даже на часы. Но мы ехали с опережением графика всего в десять минут, и я не мог остановиться.

Ты знаешь, я осатанел этой ночью. Я гнал, как в атаке, буд-



то от этой атаки зависела вся моя жизнь. Левую руку я держал на ручке стеклоподъемника. Мне казалось, что это сектор газа.

На подъемах я толкал «сектор» чуточку вперед, на спусках прибирал на себя. Я представлял, что снова лечу...

Впервые за несколько последних недель у меня было хорошее настроение.

И все время я думал о Катиной библиотеке. Представлял, что бы на ее месте ответил академику такому-то и как бы старался для академика такого-то, и вновь и вновь пытался вообразить себе ее Евгения Федоровича. Надо же так сказать: «Хуже нет, чем в угловых жильцах ходить».

Наверно, он никогда не летал, этот Евгений Федорович. Ему, конечно, просто. Всю жизнь просидел в своей науке...

А может быть, это я напрасно придумал, что жить можно только в воздухе? Может быть, я еще на что-нибудь гожусь? Могу же по земле машину водить. Могу в моторе разобраться. Напильник умею в руках держать. В навигационных приборах разбираюсь. По-немецки кое-что смыслю...

Рассвет мы встретили перед Тулой. Дождь не ослабевал. У меня болели плечи, глаза, казалось, распухли. Но шли мы хорошо, опередили график на двадцать пять минут.

Катя проснулась на объезде. Ее тряхнуло на колдобине, и она тревожно вскинула голову:

— Ой, я, кажется, заснула? Вы, наверно, очень устали? — А сама украдкой глянула на часы и сразу же повернулась к обочине.

Я догадался — ждет очередного дорожного столбика. Оставалось сто восемьдесят шесть километров, и в запасе у нас было три с половиной часа.

Дождь утих сразу, где-то за Подольском.

В Москву на Серпуховскую площадь мы въехали в двадцать минут девятого. И тут меня остановил милицейский свисток. Вежливого старшину интересовало, почему машина в таком непотребном виде.

Я глянул на своего «серенького» и не узнал его. «Москвиченок» был вовсе не серый, а совсем-совсем шоколадный, весь заляпанный грязью.

Что было говорить?

Экономя минуты, я бухнул первое, пришедшее в голову:

— Товарищ старшина, финиширую первым. Иду по трассе Симферополь — Москва. От Харькова — проливной дождь. Так что сами понимаете. Пробег завершается у Парка культуры. Разрешите следовать дальше?

Старшина еще раз подозрительно оглядел машину, заинтересовался почему-то моей обтрепанной летной курткой, но отпустил, пожелав благополучно закончить гонку...

Без четверти девять мы остановились около Академии наук.

Катя трясла мне руку, говорила какие-то хорошие слова, а я думал только об одном — как бы поспать, хоть часок, хоть полчаса.

Ну и что, спросишь ты меня. Что случилось дальше? Пока еще ничего особенного не произошло. Только в последнее время мне стало не так больно смотреть на небо.

Нет, я еще не знаю, что буду делать, но в угловых жильцах не останусь.

Пока есть на свете хоть какие-нибудь машины и пока существуют дороги — жить можно.

Это точно.

*Саратов — Москва.*



Пионерская комната расплосована дрожащими пыльными лучами заходящего солнца. Резкое, неровное освещение старит плакаты и стенные газеты, подчеркивает убожество мебели и старомодность переплетенных в плюш семейных фотоальбомов, приспособленных, впрочем, совсем для новых целей. Спасибо фанфарам. Пронзительное солнце зажгло медь, и от этого в комнате сразу стало веселее.

Вот уже два часа старшая вожатая Валя рассказывает о своих ребятах.

Вале года двадцать два — двадцать три. Она плотная, как говорится, крепко сбитая девушка. У нее правильные черты лица, гладкие, закрученные в тяжелый пучок волосы. Валя очень загорелая. Красивая? Нет, красивой ее не назовешь — обыкновенная, подтянутая, очень спортивная.

Валя рассказывает о самодеятельности, о том, как отряд



имени Спартака взял шефство над детским садиком, о том, как всей дружиной ребята собирали металлический лом, о том... Нет, это просто невозможно перечислить всех хороших, отличных, замечательных дел ее пионеров — выполненных, запланированных и еще не запланированных...

— Скажите, Валя, а ребят своих вы любите?

— Ребят? — Валя почему-то краснеет, у нее округляются глаза, приоткрываются пухлые губы, кажется, даже прядка волос сама собой выскакивает из прически и завивается в симпатичное колечко. — Ребят? Да как же их можно не любить, чертей этих?..

И тут я берусь за карандаш.

Вот я вам все откровенно расскажу и по порядку. Можете себе представить — не успела я войти в школу, вызывают к директору. Иду и думаю: "Ну, что-то опять стряслось". Открываю дверь в канцелярию, вижу: сидит Пулатов и улыбается. Просто так сидит и просто так улыбается. Чудеса! Улыбаться наш директор не очень-то умеет. Здравуемся, и он сразу говорит:

— Имейте в виду, Валентина Григорьевна (директор всегда меня по имени и отчеству называет), завтра к нам прилетает Юрий Алексеевич Гагарин...

— Ой, ты! (Это я отвечаю. Не очень, конечно, глубокомысленно, но другие слова почему-то не находятся.)

— «Ой ты» или «не ой ты» — это как вам угодно, Валентина Григорьевна, а нам, то есть нашим детям, нашим пионерам, доверена высокая честь приветствовать Первого космонавта. Понимаете? Давайте посоветуемся, кого будем готовить.

Посоветуемся! Это же только так говорится. Всем давно уже известно, что, если надо приветствовать гостей, или выступать в клубе наших шефов-кабельщиков, или представлять дружину в телевизионной передаче, тут спора нет, кандидат один: Рашид Керимов,

Жалко, вы его не видели, нашего Рашида. Маленький — в третьем классе учится, — глазенки быстрые, сам как мячик, на месте совершенно стоять не может. А выступает! Ну просто артист, диктор Левитан! И по-узбекски, и по-русски одинаково хорошо говорит...

Словом, советовались мы две с половиной минуты и решили так: Рашид приветствует Юрия Алексеевича, пять девочек и пять мальчиков вручают цветы. И, чтобы никому не обидно было, ребят берем из каждого класса по одному, конечно, отличников, и все такое.

С этим покончили, и тут Пулатов говорит:

— Выступление Рашида надо продумать, подготовить. Вы этим сами займитесь, потом мне покажете. Время еще есть, давайте!

Давайте! Легко сказать — давайте.

Пришла я после нашего разговора вот в эту самую комнату, села за этот самый стол, посмотрела в окно, и знаете, что со мной случилось? Я испугалась. Так испугалась, так испугалась — не могу даже передать.

Вы, пожалуйста, не улыбайтесь. Я же с вами откровенно разговариваю, все, как было, рассказываю. Какие слова надо Гагарину сказать? Ведь это такой человек, такой герой... Где их взять, эти необыкновенные слова? «Замечательный» — так это и про компот говорят. «Выдающийся» — так это в каждом номере любой газеты прочитать можно: и рекорд выдающийся, и математик выдающийся, и тенор, и доярка, и даже аферист может быть выдающимся. «Великий» — не люблю я этого слова, не понимаю его — каждый человек великий, весь вопрос в том, с кем его сравнивать...

Вот так я и сидела и думала, и ничего у меня не выходило, ну совсем ни-че-го-шень-ки!

В конце концов махнула я на все рукой — что ж делать, я не Маяковский, не могу новых слов выдумать! — и написала, как всегда пишут:

«Дорогой Юрий Алексеевич! Сегодня самый замечательный день в нашей жизни. Мы приветствуем вас, выдающегося сына нашей родины, в солнечном уголке великого Советского Союза — в нашем любимом Узбекистане!..» Ну, и так далее, и так далее.

Написала, прочла. Ничего? Вроде ничего. Понесла речь Пулатову.

Пулатов взял листок, надел очки, читает. А я сижу и волнуясь. Как будто я опять ученица, и как будто это мое сочинение, и как будто мне могут за него вкатить двойку.

— Ну что ж, Валентина Григорьевна, все правильно, все совершенно правильно. Только не кажется ли вам, что для такого гостя, для такого необычного случая нужны какие-то особенные слова? — Это Пулатов говорит.

И я сразу соглашаюсь: нужны. И тут же признаюсь, что я просто не знаю таких слов, не могу придумать.

Пулатов помолчал, потом сказал что-то по-узбекски, но я не расслышала что, а когда спросила:

— О чем это вы? Я, простите, не поняла.

Он ответил:

— Нет, нет, я так, про себя. Не обращайтесь внимания. Вызывайте Рашида, занимайтесь с ним. А цветы, форму и все остальное я беру на себя.

И вот в эту самую комнату к этому самому столу явился Рашид Керимов.

Я сказала:

— Завтра, Рашид, к нам в Ташкент прилетает Юрий Алексеевич Гагарин...

— Ну да! Прилетает? К нам? Гагарин?

— И тебе, Рашид, поручается приветствовать Юрия Алексеевича и вручить ему красный пионерский галстук...

— Мне?!

— Ну-ну-ну! Не притворяйся, пожалуйста. Ты что, никогда не выступал с приветствиями?

— Но это же Гагарин! — сказал Рашид, и в глазах у него

появилась какая-то сумасшедшинка. Он даже сел. И даже задумался.

Я положила перед ним листок с приготовленной речью, но он не заметил листка. Вы знаете, мне показалось вдруг, что Рашиду стало сразу лет сто, такое у него сделалось серьезное и задумчивое лицо. Потом Рашид пришел в себя и стал читать то, что я написала.

Почему-то на этот раз он читал очень плохо: все время запинался, путал ударения, сглатывал окончания.

— Дорогой Рашид, сказала я, — так дело не пойдет. Успокойся, возьми себя в руки и постарайся вдуматься в слова, которые произносишь. Ведь завтра тебя будет слушать вся республика. Ты подумай...

— А я думаю. Я все время про него думаю.

— Про кого?

— Про Гагарина. Вот он летел высоко-высоко — выше всех. И кругом было совсем пусто. Правда? Совсем пусто и темно. И звезды светили здоровенные, как фонари на проспекте Навои. А он был один. И не боялся. И все-все знал: что включать, и когда, и зачем... И помните, он сказал: «Ну, поехали». Только он это раньше сказал — перед самым взлетом. Он, наверно, очень умный, Валентина Григорьевна, и очень сильный, правда?

Я не перебивала Рашида, а он все говорил и говорил, и, знаете, так здорово! Оказывается, наш Рашид все знает и про космос, и про ракеты, и про летчиков. Даже удивительно — ведь совсем еще маленький и такой озорной мальчишка.

А потом он ушел и унес с собой мой листок, обещал подготовиться дома.

И я тоже ушла. И весь вечер провалялась на диване. Ничего не делала, только думала.

Вот пройдет каких-нибудь пятнадцать лет, и такой Рашид запросто сможет улететь на Луну или на Венеру. Интересно! Правда, интересно? И еще другие мысли у меня были. Наверно,

через пятнадцать лет все наши ребята станут очень учеными. То есть я вот что хочу сказать: конечно, не все сделаются научными работниками, но все будут разбираться и в атомных установках и в полупроводниках; будут считать на электронных машинах... Иначе просто невозможно будет жить на земле...

Нечаянно я заснула. А когда проснулась, было уже пять утра. Раздеваться и ложиться в постель не имело смысла. Я умылась, переоделась и стала ждать семи, В половине восьмого я всегда ухожу в школу.

Рашид явился вовремя. Он был в белой рубашке, в наглаженном крепдешиновом галстуке, причесанный, очень торжественный. По-моему, он даже чуточку подрос за эту ночь.

Он прочел мне приветствие звонким, уверенным голосом, и я еще раз подумала: «Ну артист, просто диктор Левитан!» Я чуть не расцеловала его, так мне понравилось, как он читает.

Его послушал Пулатов. И тоже одобрил.

После этого мы поехали в комитет комсомола.

Когда нас увидела Рая Зеленцова, инструктор по пионерской работе, она так обрадовалась, как будто мы ее приветствовать приехали,

— Молодцы! — крикнула Рая. — Главное, без опоздания. Настоящие молодцы! Кто приветствует? Рашид Керимов? Отлично. Ты понимаешь, Рашид, какая тебе выпала честь?

— Понимаю, — сказал Рашид и насупился,

— Вот ты вырастешь, состаришься, у тебя будут внуки, — не унималась Рая, — и ты будешь им рассказывать про этот день, про то, как ты приветствовал Первого космонавта Земли. Представляешь?

— Представляю, — сказал Рашид и насупился еще больше. Тут я попыталась вмешаться.

Знаешь, Рая, — сказала я тихо, — по-моему, Рашиду совсем еще ни к чему думать о внуках. Оставь его. Мальчик волнуется.

Но Раю не так-то просто сбить.



— Волнуется? Ну и правильно, ну и хорошо, ну и отлично — пусть волнуется. Так и надо! Мы все должны волноваться в такой день. Нормальное положение.

Потом мы поехали на аэродром.

Народу там собралось ужас сколько. Нас пропустили через боковую калитку, так что мы сразу очутились около самой трибуны. Все смотрели на часы. И всем казалось, что самолет опаздывает. Только тут, на аэродроме, я поняла, что значит волноваться по-настоящему. Пока «ИЛ-18» доручил до места стоянки, я думала, у меня выскочит сердце, так оно тряслось и дергалось.

Появился Гагарин. Все долго хлопали и махали букетами. А Юрий Алексеевич улыбался и поднимал обе руки над головой, как будто бы хотел сказать: «Сдаюсь, делайте что хотите, но всех обнять не могу. Сдаюсь».

Сначала говорили взрослые. Что они говорили, я не слышала: все время подавала, когда на трибуну поднимаются мои пионеры.

И вот уже осталось всего каких-нибудь три минуты, две минуты, одна...

Я сказала:

— Ну, ни пуха ни пера... — и больше ничего не сказала.

Не успела: Рашид поманил меня рукой и прошептал в самое ухо:

— Валентина Григорьевна, я другую речь буду говорить...

У меня все даже в глазах поплыло. Но минута уже кончилась, и ребята побежали к трибуне. А я стояла на своем месте и тряслась, как в ознобе.

— Дорогой Юрий Алексеевич! — звонко выкрикнул Рашид, и двадцать репродукторов разнесли его слова по всему аэродро-

му. — Когда мне вчера сказали, что я буду вас приветствовать, мне показалось, как будто я попал в состояние невесомости...

Гагарин засмеялся. Люди на трибуне тоже засмеялись. И на аэродроме все заулыбались. А у меня... у меня буквально остановилось сердце...

— Вы не смейтесь, пожалуйста, — смело продолжал Рашид, — я до дому долетел в каких-нибудь две минуты. Можно считать — на первой космической скорости. И я всем-всем сказал, что сейчас буду учить речь для вас. И мне все стали завидовать. Даже наш дедушка. Дедушка сказал: «Учи хорошенько, Рашид. Такому человеку надо сказать очень хорошие слова. С ним надо не языком говорить, а всем сердцем!» И я все выучил, что мне Валентина Григорьевна написала. Валентина Григорьевна — это наша старшая пионервожатая. Только я вам потом скажу, если вы захотите, что она написала...

Гагарин засмеялся. И вся трибуна и весь аэродром захохотал вместе с ним. Люди смеялись громко, от души, а я... я заревела.

— А сейчас, Юрий Алексеевич, я вам вот что скажу: пока мне и моим товарищам еще мало лет. Мне всего одиннадцать с половиной. Но когда я проживу еще столько и еще полстолько, тогда я буду, как вы, космонавтом. Я вам клянусь, Юрий Алексеевич! И таких ребят очень много, может быть, целый миллион. Так что вы можете быть спокойны. А теперь нагнитесь, пожалуйста, я надену вам пионерский галстук.

И Гагарин нагнулся, расцеловал Рашида, а Рашид завязал на нем красный галстук. И тогда Юрий Алексеевич подхватил Рашида под мышки и поднял его над головой, а Рашид закричал:

— Да здравствуют наши космонавты!

И ему аплодировали больше всех.

Рашида я увидела только на другой день. С аэродрома Юрий Алексеевич его так и не отпустил и после митинга увез куда-то с собой.

А когда на другой день мы увиделись, Рашид сказал:  
— Вы не сердитесь, Валентина Григорьевна, я ведь правда буду космонавтом. Посмотрите, вот. — И он показал мне фотографию Гагарина, на которой Юрий Алексеевич написал:

*Расти, учись. Верю, что и ты будешь космонавтом.*

*Рашиду Керимову на память от Ю. Гагарина.*

А вы еще спрашиваете - люблю ли я своих ребят?!

Да разве ж их можно не любить? Вот таких — космонавтов.

*Ташкент.*



В чашом городском скверике на зеленой горбатой скамейке сидел старшина милиции и читал мою книжку. Книжка эта была написана несколько лет назад и предназначалась для ребят «среднего и старшего возраста». От удивления я даже рот раскрыл.

— Разрешите? — спросил я и сел рядом со старшиной.

Старшина не обратил на меня никакого внимания, только головой мотнул, что должно было, по-видимому, означать: садитесь, чего там спрашивать...

Осторожно заглянув в книжку, я сразу определил, какой рассказ читает старшина, до какого места он добрался и сколько еще осталось до конца.



Старшина читал, а я обдумывал, как бы мне поделикатнее завязать с ним разговор. Впрочем, старшина сам пришел мне на помощь:

— Интересуетесь? — неожиданно сказал он и посмотрел на меня строгим, изучающим взглядом. — Я вот тоже интересуюсь, где мне этого писателя разыскать.

— А он что, набедокурил где-нибудь? — дипломатично спросил я строгого старшину.

— Набедокурил или нет, мне это неизвестно. У меня другой вопрос к писателю. Вот он все пишет про летчиков, про моряков, про путешественников и прочих там... как бы сказать... особенных людей...

«Ну, ясно, — подумал я с тоской, — сейчас спросит, а почему он не отражает жизнь и подвиги работников милиции». Но я ошибся.

— Почему он про самих мальчишек умалчивает? Кто же будет про мальчишек рассказывать, если детский писатель не расскажет? Вот вопрос! А мальчишки, я вам доложу, попадают такие — только пиши. Ну, взять к примеру недавний случай...

Возвращаюсь я с обхода. Время — второй час ночи. На углу Почтовой и Карла Маркса останавливаюсь. Останавливаюсь аккуратно против «Гастронома» и закуриваю. Кругом темно, тихо. Можно сказать — полный порядок. Стою, спокойно курю. Тут слышу вдруг шаги. Топы-топы — идет, значит, кто-то. Думаю: кто же это идет? Не мужчина — шаги легкие, но, пожалуй, и не женщина — без цокота ноги переставляет. Может, конечно, и женщина, если в тапочки обутая... Нет, определенно не женщина. Идет пацан — слышу спичечный коробок подбил. Ясно — пацан. А время, напоминаю, один час двадцать пять минут. Странно.

На всякий случай прикрываюсь киоском, в тень, то есть, отступаю.

Действительно, с Карла Маркса на Почтовую сворачивает мальчишка. Не так чтобы большой, но и не совсем маленький. Конечно, в потемках можно и ошибиться, однако, полагаю, лет двенадцати гражданин шагает.

Спрашивается, куда его несет? Зачем?

Можно бы остановить, спросить, но я так рассуждаю: если по хорошему делу пацан идет, зачем ему милицейским моим обличьем настроение портить, а если тут что-нибудь нечистое, так тем более надо сначала понаблюдать.

Короче говоря: он идет, и я пошел.

С Почтовой сворачивает малый на Парковую.

Тут как раз луна из-за туч выходит. Вижу, пацан мой в белую рубашку одет, в темные трусики. На ногах сандалики. Идет храбро, будто по делу.

В один час сорок минут выходим мы на Загородную. Останавливается малый. Оглядывается по сторонам. Осторожно так оглядывается и, заметьте, прислушивается. Я к забору при-мкнул — не дышу.

Постояли, пошли дальше.

Только замечаю я, что друг мой с шагу сбился. Не так идет, как сначала. Идет, будто ноги у него потяжелели. И бормочет чего-то себе под нос.

У меня чуть ухо не лопнуло, пока разобрал, чего он там себе рассказывает. Оказывается, из кинофильма слова выговаривает:

**На верное дело  
Спокойно и смело  
Иди, не боясь никого...**

Прямо скажу — подозрительные слова, по-разному понять можно. Какое «верное дело» в два часа ночи у такого сопляка может быть? Не понравились мне эти слова.

Однако идем дальше.

В один час пятьдесят пять минут сворачиваем на Загрязскую улицу. Дальше дорога одна — на кладбище...

Ну что же, мое дело привычное, могу и на кладбище прогуляться, а его-то, его-то куда несет?

Перед оградой парень остановился. Достал из-за пазухи фонарик электрический, зажег, потушил, опять зажег и снова потушил. Проверил, значит. Бормотать перестал, пошел дальше. Тихо ступает, только песок под сандалиями хрустит.

А кладбище у нас старинное, наверное, знаете. Большое кладбище, и все равно теснота: крест к кресту лепятся, могилка к могилке. Однако центральная аллея всегда в полном порядке: и скамеечки, и песочек, и цветики — все как должно быть. Но, как ни крути, кладбище есть кладбище — скорбное место, неприятное.

Идем. Тишина вокруг — будто весь свет сюда переселился, помер то есть. Никакое движение не наблюдается, только луна в облаках ныряет: выскочит, спрячется, еще выскочит и опять исчезнет. И от этого ныряния тени на песке пляшут: то короче, то длиннее кресты становятся. Честно сказать, так я даже кобуру расстегнул. Как-то. оно спокойнее, когда оружие наготове.

А он идет.

Время — два часа пятнадцать минут.

Идет.

У седьмой поперечной просеки останавливается. Засветил фонарик, надпись на могиле читает, Я притаился, жду. Смотрю — встает пацан на колени и чего-то на земле шебуршит. Долго возился, по часам — десять минут. В два тридцать тронулся дальше.

Тут луна, как по заказу, выскочила, глянул я на то место, где малый возился, и сразу увидел: на песке из камешков стрела выложена и рядом две буквы: «В. О.» Стрела, заметьте, в седьмую просеку носом глядит. И пацан мой тоже туда свернул. «Ну, — думаю, — чертовщина какая-то. Надо, кажись, кончать этот цирк, брать малого под ручку и начинать беседу, А то он меня до утра водить будет».

И все-таки я его не окликнул. Почему, спросите? Есть три причины.

Первая: заинтересовался я всем этим делом. В азарт, понимаете, вошел. Вот хочется до полной глубины явления добраться, и всё, и точка. Это раз.

Вторая причина: очень я к пацанам приверженный. Может, потому, что в детском доме рос. А может, потому, что у самого детей нет, или потому, что Макаренко начитался. Не знаю. Люблю пацанов и жалею. Это, значит, два.

Ну, и третья причина: служба! Что вы там про нашу милицейскую работу ни думайте, что ни говорите — это ваша забота, а я знаю: начал дело — доведи до конца. Закон! Это, стало быть, три.

В два часа сорок две остановился мой малый около фамильного склепа купцов Миловановых. Знатный склеп. Весь из черного мрамора. Можно сказать, не могила, а целый дом. Малогабаритная квартира вполне бы из него вышла, только окна прорубить.

Посветил парень фонариком, открыл калитку в ограде и опять, значит, на земле завозился.

В три часа пять минут закончил он, видать, свою работу. И тут как ахнет что-то, у меня аж сердце оборвалось...

Понимаете какая штука, я человек городской. Вот, если по отпечаткам протектора надо марку автомобиля определить, — пожалуйста; если вы меня заставите запах этилинированного бензина от обыкновенного отличить — тоже могу; а в птицах или зверье каком, извиняюсь, ничего не понимаю...

Ну, словом, когда оно в кустах ахнуло (что это было — филин там, или сова, или еще какая живность, так я и не установил), я даже пригнулся, а парень мой как рванет с места, только искры из-под ног полетели...

— Стой! — закричал я во весь голос. — Стой!!

А его уж й нет.

На первой ступеньке Миловановского склепа след от него



остался. Обрато же камешки. Аккурато так выложено: «БЫЛ ОЛЕГ ВАГАУ», и две перекрешенные стрелы изображены.

На другой день прихожу я на работу, думаю: «Докладывать начальнику или не докладывать? Собственно, о чем докладывать? Ничего же не случилось. Еще на смех поднимет». Особенно меня что смушало: как сказать «тут оно как ахнет...» Это же анекдот — «оно»...

Верите, до трех часов маялся. Можно считать, половину рабочего дня сгубил. Но все же пошел.

Капитан наш человек с понятием. Между прочим, бывший летчик. На войне был. Семь лично сбил, девять — в группе. Это, я вам скажу, что-нибудь да значит!

Доложил все, как было. Что ж, вы думаете, капитан делает? В жизни не догадаетесь.

Капитан берет телефонную книгу, переворачивает, значит, странички, а сам все повторяет: «Вагау, Вагау, Вагау...»

И вдруг говорит:

— Так я и думал! Вагау Вячеслав Олегович. Знаешь такого?

Ну, я отвечаю:

— Никак нет, товарищ капитан, не знаю.

— А я вот знаю. Доктор. Хороший человек. Твой приятель наверняка его сын. Так что действуй! Адрес вот есть: улица Карла Маркса, семь, квартира четыре. Ясно?

Честно вам скажу, ничего я в этот момент не понял. Как действовать? С чего начинать? Спасибо капитану — подсказал. Посоветовал сходить к врачу на прием, приглядеться, опознать мальчонку, попробовать понять, что к чему, и потом уж решать.

— Только имей в виду, Городецкий, — Городецкий — моя фамилия, — всю эту «операцию» проворачивай в свободное от работы время. Действуй, так сказать, на общественных началах. Согласен?

Я согласился.

В тот же вечер переоделся во все гражданское и пошел по адресу.

Дом оказался как дом. Трехэтажный, старой стройки. Отопление печное — во дворе дровяных сараев штук, наверно, двадцать нагорожено. Доктор жил в первом этаже. Два окна на улицу выходили, два — во двор. Двери клеенкой обиты. Звонок допотопный. Ящика для газет не было — просто в двери щель прорезана. Вот, собственно говоря, и все данные внешнего осмотра.

Собрался я с мыслями около двери и повернул звонок. Жду. Дверь открывается, и за дверью оказывается пацан.

На нем белая рубашка, черные коротенькие штанцы. Сандалии на босых исцарапанных ногах. Голова встрепанная. Глазищи здоровенные, совсем синие. И нос озорной, и веснушек не пересчитать сколько.

— Вам кого? — спрашивает.

Очень мне хотелось ему сказать: «Вот ты-то, голубчик, мне и нужен». Однако от такого заявления я воздержался, а сказал так:

— Доктор мне Вячеслав Олегович нужен.

— А его нет. Он в больнице и сегодня поздно придет. У них там занятия с практикантами.

— Жаль. — Это я говорю.

А он спрашивает:

— Доктор вам зачем нужен?

— Да вот посоветоваться хотел.

— Странно.

— Почему же это тебе странно?

— У вас же своя поликлиника хорошая, МВД.

Я прямо опешил.

— С чего это ты взял, что я к Министерству внутренних дел отношение имею?

— Так это сразу видно.

— Как, то есть, видно?

— Во-первых, ботинки на вас форменные; во-вторых, носки синие. Такие в магазинах не продаются, их только милиционерам выдают. В-третьих, пояс у вас из португалии сделан, и, в-четвертых, я вас сто раз в форме видел. Могу даже сказать, какое у вас звание. Старшина! Что, неправильно разве?

— Силен ты, однако. Прямо Шерлок Холмс.

Тут малый заулыбался и говорит:

— Но ведь все точно. Правда?

Вот так мы с ним немножко поговорили, и я ушел. Признаюсь, ушел несолоно хлебавши, как говорится. Ну чего я узнал? Ничего. Даже зло взяло. Иду и думаю: «Ты, парень, хитер, однако и я не лыком шит». И придумал такой, значит, ход. Дня через три ночью в парадном ихнем нарисовал мелом стрелу, а рядом со стрелой написал 23 8 23 50. Это что должно было обозначать? Двадцать третьего августа в двадцать три часа пятьдесят минут. А стрела указывала направление на дровяные сараи. Там я еще одну стрелу из камешков выложил и в самом дальнем углу двора изобразил крест из двух стрел и надпись сделал: ЖДИ 23 50 БУДУ КГГ. Ну, тут все, кроме КГГ, понятно. А КГГ значит: Константин Григорьевич Городецкий.

Изобразил и думаю: клонет или не клонет? Вы не смейтесь, ужасно я этим пареньком заинтересовался, прямо, можно сказать, увлекся им.

В назначенное время я на место свидания не пошел, а замаскировался в соседнем дворе, за забором. Выбрал себе такую позицию, что меня и днем с огнем не разглядишь, зато передо мной вся территория как на картине. В двадцать три сорок пять вижу — выходит мой пацан из подъезда, оглядывается и прямехоньким образом топает к месту встречи.

Тут я беру палку (палка у меня заранее приготовлена была) и просовываю между досок в заборе. А на конце палки записка приколота.

Клюнул мой дружок и на записку. А в той записке я такую чертовщину загнул:

*Завтра 19.30 на углу известного вам дома Миловановых.*

*Будь один. Без оружия. Есть сверхважные новости. КГГ.*

А внизу еще две перекрещенные стрелы нарисовал.

И что ж вы думаете изо всей этой петрушки получилось?

А вот что!

На другой день вызывает меня начальник, спрашивает:

- Ну как, Константин Григорьевич, у тебя дело подвигается с той кладбищенской историей?

- Ничего, — говорю, — идет помаленьку. Пацана опознал. Завтра, думаю, все окончательно определится.

- Пора бы! Впрочем, я не тороплю. Желаю успеха. Ни пуха тебе ни пера. — Говорит, а сам улыбается и мундштучком поигрывает.

Признаться, капитанская улыбочка мне не понравилась. Подумал еще: «Да что, в самом деле, за дурака он меня считает? А почему? Да кто ж его знает, почему! У начальства не спрашивают, что оно думает».

В девятнадцать тридцать прихожу на место. Тишина. Птички только чирикают. Кругом ни души. Закурил, жду. Никого. «Ну, сдрейфил мой парень, — думаю, — определенно сдрейфил». И только я такое предположение сделал, кусты как затрещат, и тут кидается на меня целая банда пацанов. Человек, наверно, пятнадцать. И командует этой ордой мой орел, и устоять против его разбойников нет никакой физической возможности. Представляете — скрутили меня, форменным образом в плен взяли.

Перестарайся я. Зря в той записке про оружие помянул. Когда Олег это дело прочел, он, оказывается, прямехонько к начальнику нашему подался и все ему доложил. А неизвестного КГГ взялся задержать и доставить к капитану. Ну, тот-то знал,

что к чему, и спокойненько его благословил. Дескать, давай действуй, помоги разобраться...

Вот такая, значит, обструкция получилась.

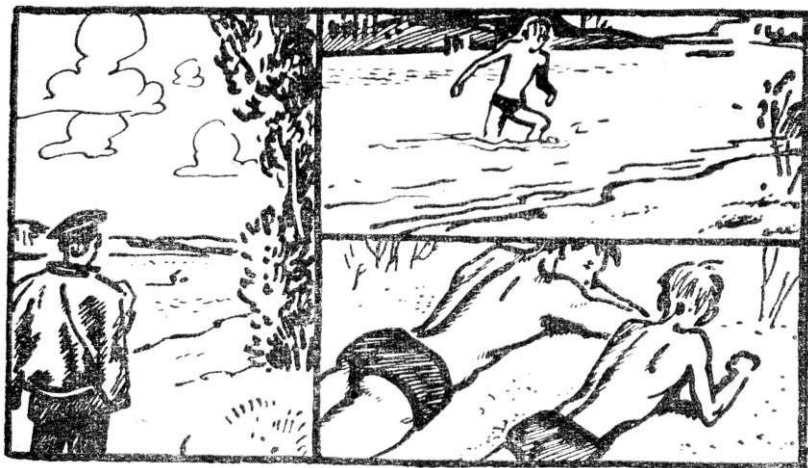
А па кладбище он ночью на спор ходил. С ребятами поспорил, что геройство свое, значит, докажет.

Верно, спор он тот выиграл. А когда я его спросил, на что ему надо было храбрость свою доказывать, так он так объяснил:

— Я давно решил разведчиком или контрразведчиком стать. И стану. А какой может быть из человека разведчик, если он трус? Вот я себя и воспитываю. Давно уже воспитываю и добыюсь.

Ну, как вам это давно нравится? Давно! А самому-то двенадцать лет только-только сравнялось, В пятый класс перешел. Давно! Это ж надо придумать!

*Кузнецк,*



## Пловцы

В этот день мне не работалось. Бывает же так — мысли налезают на мысли, в голове вертятся нужные слова, а на бумагу, хоть умри, ничего не ложится. Испортив с десяток чистых страничек, я решил больше не мучить себя и пишущую машинку. Собрался и вышел из дому.

Утро было теплое, прозрачное. В такой день хорошо бродить за городом, принохиваться к лесу, приглядываться к реке. Упругий весенний ветерок, молодое солнышко обязательно помогут — все лишнее незаметно выветрится из головы, мысли постепенно придут в порядок, слова выровняются.

Это точно.

По дороге на вокзал встретил двоих — молодые, веселые, они шли, перепоясавшись снизками баранок, как пулеметными лентами, и громко смеялись. Я посмотрел вслед ребятам и тоже улыбнулся. В такой день просто невозможно хмуриться.

И в вагоне метро оказался славный попутчик — мальчишка

вез коробку с патефонными пластинками. На крышке крупными аккуратными буквами было выведено: «Веселье». И я еще раз улыбнулся и подумал было: «А не вернуться ли к столу и не попробовать ли еще раз сесть за работу?»

Но, не вернулся — вспомнил мудрое авиационное правило: «Приняв однажды решение, даже худшее из возможных, не изменяй его». О, это очень хорошее правило! Стоит летчику заметаться в воздухе, сменить одно решение на другое, потом принять наспех третье, глядишь — несчастье и подстергло. А почему? Все решения были правильные, только ни одно человек не выполнил, не довел до конца... И на земле так бывает.

Словом, решив ехать в лес, побродить вдоль реки, подумать на свободе, я не стал отступать — и не пожалел.

За городом пахло теплой землей и молодыми липами. Здесь жили и ширь, и даль, и вьсь, так плохо ощутимые в городе. Прошагав от станции с километр, я вышел к реке. Река была неширокая, тихая, в редких радужных разводах. Бросив кожаную летнюю куртку под куст, я растянулся на берегу. Лежал в думал.

Вспоминались разные люди: смелые и осторожные, серьезные и легкомысленные, отважные и тихони. И всех связывало в единую дружную семью небо. Я думал о воздушном братстве, рожденном в трудных испытательных полетах, на дальних северных трассах, в коротких воздушных схватках, в каждодневной борьбе за жизнь...

Тихо текла река, изредка слабый ветерок морщил водную гладь, и все постепенно становилось на место. Не знаю, сколько прошло времени, помню, я уже собирался подняться и идти дальше, когда на противоположном берегу показался мальчишка.

Худенький, светлоголовый, он уверенно подошел к самой воде, быстро скинул вылинявшие тренировочные брюки, сдернул голубую майку и, резко толкнувшись, нырнул. Потемнев-

шая головенка показалась метрах в пяти от берега. Мальчишка плыл, шумно брызгая, слишком часто взмахивая руками. Он плавал плохо, это было видно сразу. Тем удивительнее показалось мне его намерение форсировать реку.

Не отрывая глаз, я следил за мальчонкой. Он пыхтел, отплевывался и поднимал такой фонтан брызг, как будто бы поперек реки плыл вовсе не мальчонка, а полновесный голубой кит. В конце концов пловец добрался до моего берега и вылез на песок.

Мальчишка тяжело дышал, часто и шумно глотая воздух. Со стороны мне даже показалось, что он всхлипывает. Так продолжалось минут пять. Потом мальчишка стал дышать реже и глубже, взмахнул несколько раз руками и неожиданно снова бросился в реку.

К противоположному берегу парнишка плыл мучительно долго. И снова от него во все стороны летели брызги, и снова над водой суетливо мелькали загорелые худенькие руки.

Добравшись до своей одежки, пловец снопом свалился на траву. Какое-то время он лежал неподвижно. Потом поднялся, прошелся по берегу, помахал руками и опять ринулся в реку.

Это был странный мальчик. Я даже подумал: «Не утопиться ли он собирается?»

На середине реки непонятный пловец нырнул. Несколько секунд голова его не показывалась над водой, и я стал поспешно раздеваться. Но, раньше чем я успел скинуть ботинки, он выплыл и, качаясь, выбрался на песчаный откос. И снова мальчишка лежал на одном берегу, а его брюки и майка — на другом.

Неужели поплывет еще раз? Оставаться наблюдателем или подойти? Я не успел решить эти трудные вопросы: паренек в четвертый раз полез в реку.

Не выдержав, я тоже прыгнул в воду и поплыл следом за мальчишкой. На середине реки догнал его и крикнул:

— Хватайся, подвезу!!



Но он ничего не услышал и продолжал судорожно сучить руками.

— Эй, парень, хватайся за плечи!

Теперь он услышал и понял меня. Но помощи не принял — вильнул в сторону и продолжал плыть самостоятельно.

Потом мы лежали на берегу рядышком и долго молчали.

— Тебя как зовут? — спросил я.

— Шуркой.

— Ты что ж, Шурка, утопиться хочешь, что ли?

— Здесь не утопишься. На середине по шейку всего.

Реки я не знал и о том, что она может быть мелкой, как-то не подумал.

Наверно поэтому Шуркины слова развеселили меня, и я неосторожно хмыкнул.

— А чего вы смеетесь? Мне плавать научиться надо. Вот я и тренируюсь. Два раза туда-сюда сплавал, отдохну и еще поплаву. — И он отвернулся.

— Плавать, конечно, надо, но зачем же сразу так резко брать?

— А мне быстро надо. Понятно?

— Непонятно, — честно признался я и внимательнее пригляделся к пареньку.

Чистые светлые глаза его смотрели упрямо и дерзко. На выпуклом красивом лбу лежала неожиданная поперечная морщинка. У него был жестковатый волевой рот. Маленькие розовые уши просвечивали на солнце.

— Бывает в жизни по-всякому, — подумав, сказал мальчишка и стал растирать посиневшие, покрывшиеся частыми прырышками ноги.

— Вот это понятно. Это каждый летчик может понять. Неожиданностей нам всегда хватает.

— А вы правда летчик? Честно?

— Честно.

Паренек помолчал, потом спросил:

— А Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Громова как по имени и отчеству зовут?

— Михаил Михайлович.

— Правильно. А звуковой барьер — это что?

Я стал объяснять.

Мальчишка слушал внимательно. Постепенно недоверие исчезало из его озорных светлых глаз. Наконец он сказал:

— Правильно, летчик. — И стал задавать мне вопрос за вопросом, но теперь уже без подвохов. Просто Шурка интересовался летным делом и хотел узнать о моей работе как можно больше.

Мы долго разговаривали в этот день, но своего секрета Шурка мне не открыл.

Когда мы прощались, он спросил:

— А вы еще приедете?

— Возможно.

— А я завтра в десять опять тренироваться буду.

Весь вечер я думал о Шурке. Видно, такой уж у меня характер — неясность тревожит больше всего.

На другой день ровно в половине одиннадцатого я был на реке. Шурка оказался на месте. Он поздоровался со мной, как со старым знакомым, и сразу же доложил:

— А я туда-сюда три раза уже переплыл. Ни одного разочка не оступился.

И снова мы долго толковали о летчиках, о самолетах. Но, как только я пытался узнать, почему Шурка так отчаянно тренировался, он сразу же замолкал и хмурился.

Закончилась наша встреча на том, что я пригласил Шурку в гости. Он обещал приехать на другой день, к четверем.

Явился Шурка точно в условленный срок. Долго с удовольствием разглядывал мои летные «трофеи»: малайский кокосовый орех, бирманские фигурки, веточку пальмы из Африки.,

Я видел, что ему совсем не хотелось выпускать из рук старый фронтовой компас; но больше всего Шурку заинтересовала фотография на стене.

— Это кто? — спросил Шурка.,

— Штурман мой.

— Женщина?

— Женщина. И какая была женщина! Весь полк в ней души не чаял: умница, смелая. А как бомбы в цель укладывала! Редкий мужчина с ней соревноваться мог. Погибла в сорок третьем...

— А красивая какая! — Шурка вздохнул. — Вот и Тая тоже красивая.

И тут я узнал историю неудачной Шуркиной любви.

Они учились вместе. Но раньше Тая казалась ему такой же, как все девчонки, и он вовсе не замечал ее. А потом вдруг увидел и сразу понял, что Тая красивее и умнее и вообще лучше всех.

— Бывает так? — спросил Шурка.

— Бывает.

— И все было хорошо. Вместе в кино ходили, на каток, гуляли вместе. А потом — уже летом — Верблюд повел нас на водную станцию...

— Кто-кто? — не понял я;

— Верблюд! Это мы учителя физкультуры так зовем: он все время плюется. Повел он нас сдавать на значок БГТО. Ну вот, все и получилось тогда. Я не умел плавать. Один из всего класса. Чем я виноват? Мы ведь раньше в Мурманске жили — попробуй поплавай там! Но все стали надо мной смеяться, И больше всех дразнила меня Тая. Ну и все.

— Почему же все, Шурка?

— Потому что она совсем перестала мне нравиться.

— Совсем?

— Совсем.

— Для чего ж ты тренируешься тогда?

- Думаете, для нее? И нет и нет! Я сам хочу научиться, для себя.

А зачем же тогда тебе так срочно надо?

Чтобы, когда кончатся каникулы и когда Верблюд опять поведет нас плавать, никто надо мной больше не смеялся,

— Напоказ, значит, стараешься?

— Почему — напоказ? Мужчина должен плавать. Что, неправильно я говорю?

На словах все было правильно, но мне показалось, что в чем-то Шурка хитрит. И я решил рассказать ему, как натворил однажды много глупостей.

Мне очень нравилась девушка. Звали ее Женей. Она была пересмешницей и задирой. Мы часто ссорились и так же часто мирились. Я прощал Жене колючие словечки, капризы, едкие прозвища, которыми она наделяла всех окружающих. И вообще для нее я готов был на все.

И вот однажды я сказал Жене, что люблю ее.

— Ты высказался? — засмеялась Женя. — Все это надо еще проверить, дорогой. И учти: если уж я полюблю летчика, то только самого смелого, самого отчаянного. А просто летчик мне не нужен.

Она сказала еще что-то злое и колючее, и мы опять поссорились. Только помириться на этот раз не успели. На другой день Женя уехала в Москву сдавать экзамены в институт.

Я плохо спал в эту ночь. А утром, тщательно изучив расписание московского поезда, рассчитал, где будет находиться состав в то время, когда я вылечу для тренировки в зону, и, вместо того чтобы выполнять свое задание, ринулся наперехват.

Я отыскал поезд на перегоне за Поворином. Развернулся в лоб паровозу и спикировал чуть ли не до самой земли. Я ничего не слышал, понятно, но увидел, как над паровозом вспыхнули белые клубочки пара, и понял — машинист тревожно гудит. Тогда я спикировал еще раз, и еще, и еще. Я пикировал долго и добился своего-поезд встал. Из всех окон торчали голо-

ВЫ. Я снизился до высоты вагонных крыш, пронесся бредущим мимо самых окон, подхватил машину в крутую горку и, обернув ее в тройной восходящей бочке, ушел домой. На, знай, какой я летчик! На!..

Л через пятнадцать минут я стоял навтыяжку перед командиром полка. Герой испанских боев, не повышая голоса, приказал:

— Рассказывай все как на духу. Почему летал, как пикировал, для чего.

И я рассказал ему все-все.

— Дурак ты! — сказал командир. — Так убиться ничего не стоит, а -кому и какая от этого польза? Вот ты мне что скажи.

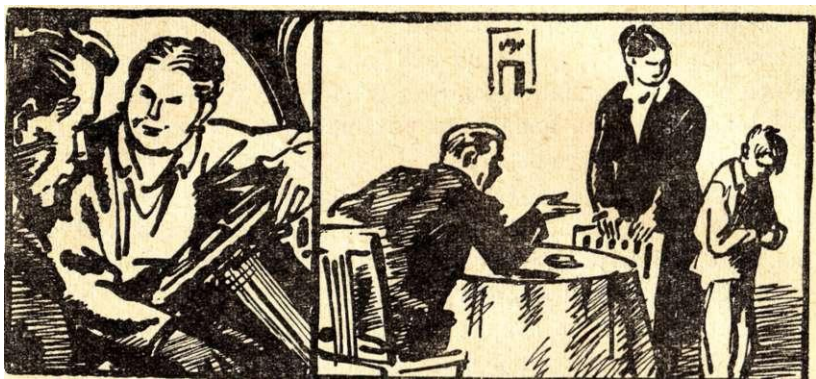
Я молчал.

— Не знаешь? Пять суток гауптвахты. Подумай на свободе о жизни. Придешь — потолкуем. Иди.

— Ну, и что же было потом? — спросил меня Шурка так поспешно, что я понял — не зря я ему рассказывал эту историю, совсем не зря.

• — Потом — ничего. Женя кончила институт, вышла замуж. А я летаю пятнадцатый год и иногда стараюсь думать о том, как жить с пользой.

*Шереметьевка.*



## Автоматик

/ РАССКАЗ ШОФЕРА /



Нас остановил дождь. Про такой дождь никак нельзя сказать, что он шел, лил, хлестал. Это был сплошной водяной обвал. Шоссе не просто почернело, как это бывает при обыкновенном ливне, — шоссе покрылось прозрачным струящимся сплошным панцирем.

Стеклоочистители суетливо ерзали по ветровому стеклу нашей старенькой редакционной «Победы», но не могли ничего сделать.

Варвара Петровна — вся редакция называла ее «наша шофересса» — потихонечку съехала на обочину, выключила зажигание и объявила:

— Перекур по метеорологическим условиям.

Кузов гудел под тяжелыми водяными ударами. Стекла

подернулись легким сероватым туманцем. Мир существовал теперь сам по себе, где-то далеко-далеко, в недоступности, мы — сами по себе, в трех кубометрах теплого, гулкого кузова.

Мне сделалось почему-то ужасно грустно; наверно, и Варваре Петровне было невесело.

Крупная, широкоплечая «наша шофересса» устало откинулась на спинку сиденья, сложила руки на животе, закрыла глаза. Может быть, она просидела так десять минут, а может быть, и все полчаса — ощущение времени исчезло.

Неожиданно, не открывая глаз, Варвара Петровна сказала:

Вот вы, инженер человеческих душ, хотите послушать кое-что «душевное»?

Ну, для ясности-замужем я второй раз. Первый муж умер. Остался у меня сын, его сын. Звать — Алешка. Десять лет. Все время считался Алешка нормальным, обыкновенным ребенком.

Второй раз я вышла замуж четыре года назад. Он тоже шофер, таксист. Звать — Костя, Константин Константинович. Хороший человек Костя. Самостоятельный, работающий, не пьет.

Мы когда поженились, он Алешку моего знаете как прозвал? Алешка-крошка. Правда, парень небольшой, худенький был. Крошка, крошка — так это к нему и прилипло звание. А себя Костя велел ему звать дядей Костей. «Пусть про отца не забывает. Это нехорошо родного отца забывать. А я для него и так за отца буду», — это Костя сказал.

Так и стали мы жить втроем: Костя, я и Алешка. И все было хорошо — тихо, мирно, по-семейному. Одно только горе: виделись редко. Я на работу в день выхожу, Костя — в ночь, сменимся — я в ночь дежурю, Костя весь день гоняет.

Алешка подрос, пошел в школу. Тут Костя мне и говорит:

— Ты бы, Варя, бросала работу. Не дело мальчишку без присмотра оставлять.

А как мне работу бросить? Обоим на Костину шею сесть?

Не могу позволить. Да и привыкла я — с восемнадцати лет за баранкой.

Вот только на этой почве у нас разногласия и происходили. Но Костя — он тихого характера человек — поворчит, поворчит и бросит, успокоится...

Так и жили.

А недавно прихожу я с работы и вижу: сидит Костя в одном углу, Алешка-крошка в другом, оба злющие, друг на друга не смотрят. Я как вошла, Алешка заревел, а Костя с места третью скорость включает.

— Вот, — говорит, — смотри и радуйся! Привел дурака нашего из милиции. Да-да-да-да! Из милиции...

Я так и села. Слова вымолвить не могу.

— Связался с какой-то шпаной. Шпана эта великовозрастная приладилась автоматы уличные обчищать, а он у них на стрёме стоял. Впередсмотрящий, значит! Где? В бандитской шайке. Автоматчик!..

Что тут со мной сделалось, не могу даже описать. Чувствую — готова я Алешку убить. Понимаете - убить, и все. Чтобы мой сын — и вор!.. Ну нет, такого не будет! Схватила табуретку, но помешал мне Костя.

— Ты что, — говорит, — с ума сошла? Зачем человека бить? Хороший хозяин собаку не ударит. Воспитывать надо. Воспитывать! Понятно?

А как его воспитывать? Я же шофер, а не профессор какой-нибудь. Всю жизнь старалась, чтобы у Алешки все было — и насчет одежды, и насчет питания, и в лагерь его всегда определяла. Я и замуж-то за Костю больше всего из-за Алешки вышла: не хотела, чтобы безотцовщиной рос. Ну, и как же его еще воспитывать?

Посидели мы втроем, помолчали. Я стала ужин собирать. Поужинали. Всё молчком. Пошла я посуду мыть в кухню. Возвращаюсь, слышу - Костя Алешке говорит:



— Держи, Автоматчик, рубль и беги в кинохронику. В двадцать пятнадцать «Большой барьер» идет. Бери три билета, в проходе хорошо бы достал. Пойдем все вместе. Смотри сдачу не потеряй.

Пошли мы в кино. Честно скажу: плохо я тот барьер видела. Кто-то куда-то плыл, кто-то зачем-то нырял, вроде рыб ловили... А я все про Алешку думала, и про Костю, и про нашу жизнь.

С того дня началась моя каторга. Только и слышу: «Автоматчик туда, Автоматчик сюда...» Конечно, я понимаю — Костя его воспитывает, напоминает, значит. Но все равно сердце у меня на куски рвется. Не зови Крошкой, не зови Алешенькой, скажи со всей строгостью — Алексей. Есть же у человека имя. Нет! Автоматчик и Автоматчик. И так день, неделю, месяц целый.

Я было попыталась вмешаться, да не тут-то было.

— Пусть помнит, — сказал Костя и замолчал.

Стала я замечать, что и Алешка изменился. Какой-то пришибленный ходит. Все молчит. Забьется в уголок и книжки читает.

А в субботу я рано освободилась. Бегу домой. И вижу: у подъезда нашего «Волга» стоит ЭЖ 42-07. Костина машина. «Ну, — думаю, — еще не легче. Костя никогда в рабочее время домой не заезжает. Что-то опять стряслось». Влетаю в комнату, передо мной картина: Костя и Алешка разворачивают здоровеннейший телевизор. Я ничего не понимаю.

— Костя! Это что же такое?

— Как «что такое»? Телевизор, «Рубин». Разве не видно?

— А деньги откуда? Он же, поди, рублей двести пятьдесят стоит. Тут я должна вам пояснение сделать: все наши деньги у меня хранятся. Костя всегда говорит, что у него покупательных способностей нет, вроде они, эти способности, у меня имеются.

— «Деньги, деньги!» Подумаешь, какая задача! В кассе

взаимопомощи взял, у ребят занял. Деньги — десятое дело. Ты про главное-то забыла? Нынче у Автоматчика день рождения. Вот я и купил ему эту машину, чтобы, значит, со всякой шпаной не шлялся, чтобы культура у него в доме была...

Не успела я ничего тут сказать, а Костя на часы глянул и сразу помчался.

— Ну ладно, я поехал, — говорит, — простой у меня. План горит. Вы тут дальше сами распорядитесь. Пока, привет, и все такое.

Он уехал, а я села на стул и реву. Реву, как последняя дура. И не знаю, что делать, режьте меня — не знаю. Вот вы, инженер человеческих душ, что бы вы на моем месте стали делать?

А-а-а, и вы не знаете, я тоже не знала. Спасибо Алешке — научил. Подошел, трется об меня, как котенок, и говорит:

— Мама, ты на дядю Костю за меня не обижайся. Ты ему ничего такого не говори. Дядя Костя меня любит. И я его люблю. Ты не подумай, телевизор тут ни при чем. Я его и так люблю. Ты только погляди, что он мне взять разрешил. На вечер. У нас в День Победы самодеятельность будет, я командира полка играю... Посмотри, ну посмотри только, мамка.

И достает мой Алешка из портфеля все Костины награды: два ордена Отечественной войны, три — Славы и семь медалей,

— А ты знаешь, мамка, что дядя Костя сказал? Он сказал: смотри только не потеряй. И учти - полных кавалеров Славы в СССР меньше, чем Героев Советского Союза! Во, представляешь? И за Автоматчика не обижайся на него, мамка. Ты же пойми — он меня воспитывает. И не плачь, не надо плакать. Я тебя прошу. У меня же день рождения сегодня.

*Москва.*



В ту пору я был увлечен всяческим зверьем. Мне хотелось написать книгу, в которой бы вместе с моими друзьями-ребятами жили, действовали, показывали свои способности тигры, волки, зайцы и попугаи... Вот почему я почти каждый день отправлялся в зоологический сад и подолгу просиживал перед клетками и вольерами, знакомясь с повадками и обычаями моих будущих четвероногих и пернатых героев.

Здесь я много раз встречал пожилого плотного человека. У него была наголо выбритая голова, крупный мясистый нос и маленькие, глубоко посаженные глазки. Мужчина тоже подолгу просиживал у клеток. Сидел он на скамье грузно, сильно ссутулясь, руки держал на массивном набалдашнике старой ореховой палки. Не мигая он смотрел на зверей и, видно, о чем-то думал.

Потом он исчез.

Потом появился вновь. И вот тогда-то мы встретились так,

будто знали друг друга лет двадцать: поздоровались, осведомились о здоровье, разговорились о жизни и по-настоящему познакомились. Он оказался интересным человеком и хорошим рассказчиком.

Одну из его историй мне и хочется привести здесь.

Мне, дорогой мой, годков-то уже будь-будь — шестьдесят семь! И видно и пережито за этот срок слава богу — на двоих вполне может хватить, пожалуй, еще и останется. Две войны, революция... А сколько наработано всякого? На Кавказе я в кооператорах ходил, в Сибири лесозаготовителем был, на Украине и на Крайнем Севере в качестве строителя действовал, в Москве учился. Ты не помнишь, был когда-то в Москве такой вуз Премакадемия назывался. Брали туда великовозрастных руководителей-хозяйственников, делали из них студентов, пополняли запас грамоты — и снова на производство... Кого директором ставили, кого управляющим трестом, а то и выше поднимали. Трудное было время, специалистов не хватало, а народ всюду требовался. Вот и учили ускоренным порядком.

А работали как? Никто себя не жалел. До двух, до трех ночи заседали. Помню, - нарком — по-теперешнему это министр — тяжелой промышленности товарищ Орджоникидзе на пять утра совещаться вызывал. Было. Из песни слова не выбросишь!

Все так работали, И я как все, Год за годом так, пятилетку за пятилеткой. И, если честно тебе сказать, так за всю мою жизнь ничего я, кроме работы, и не видел. Театр? Какой там театр, когда каждый день как на пожар торопишься, когда то план горит, то повышенное задание получаешь. Кино? Смешно сказать, но я все фильмы, которые когда-нибудь глядел, и сейчас помню. Вот, пожалуйста, «Красные дьяволята», «Праздник святого Иоргена», «Путевка в жизнь», «Чапаев», «Веселые

ребята», «Великий гражданин», ну еще с десяток, может быть, — наберется...

Ты только не подумай, что я жалуясь. Мне жаловаться грех. У меня в жизни другая красота была. И какая еще красотища! Днепрогэс — понимаешь? А Магнитка, а Турксиб, а Кузнецк... Вот то-то и оно! Это, я тебе скажу, кое-чего стоит.

Так вот и жил: арматурой, бетоном, прокатом, киловаттами, случалось — селедкой, случалось — отрубями, и всегда — процентами. А почему? Думаешь, во мне фантазии не было, мечтать не умел? Извиняюсь, все было — и фантазия и мечты. Только сделала меня революция хозяйственником, повернула биографию по-своему и приказала: строй, душа из тебя вон, трудись для народа и не ропщи. Так надо!

Ну, что ж, теперь я могу сказать: с меня много требовали, жестко, но и не обижали. Был я начальником участка — поставили директором завода, потом в управляющие трестом выдвинули и еще выше подняли — в заместители начальника и в начальники главка.

А прошлой осенью на пенсию я ушел. Годы, сердце, ну и все такое... Ладно — пенсия так пенсия, но человек-то я живой, не могу двадцать четыре часа в сутки на диване валяться, газеты и журнальчики почитывать. Убей — не могу. Мне действовать надо. Не сидится дома, тем более что дома у меня пустота: жена умерла, дети давно выросли, у них своя жизнь. Товарищи? Одних уж вовсе нет, другие на работе вращаются. Вот и попал я в полосу отчуждения.

Стал я тогда задумываться — как же мне дальше жить? Как действовать? А квартира моя, между прочим, тут от Зоопарка неподалеку расположена. Здесь прохладно, скамеечки есть, размышлять никто не мешает — зашел раз, зашел два: понравилось. А потом привык к зверью в гости ходить. И вот что занятно — многое я тут впервые в жизни узнал. Ну, к примеру сказать: сроду раньше не предполагал, что какаду — птица, попугай, значит. Мне этот какаду родственником кенгуру пред-

ставлялся. Вот честное слово даю! Или ондатра. Ни сном ни духом не ведал, что она - крысища здоровенная и больше ничего такого. Интересно!

Вот так на старости лет стал я, значит, в натуралиста превращаться. Купил Брэма, Сетона-Томпсона в библиотеке взял. Читаю, просвещаюсь и не перестаю удивляться: до чего ж я, оказывается, серый в некоторых вопросах! Ну ведь ни черта про живую жизнь не знаю.

Очень я ко всей этой фауне привязался. Клеток только не люблю. Не должна живая душа за решеткой томиться. То ли дело вольера — красота!

И вот на почве этой фауны какая тут история произошла.

Прихожу я, значит, утречком к своей скамеечке, смотрю, а там пассажир пристроился. Сидит мальчишка и потихонечку так, можно сказать - даже деликатно, ревет. Заметь, парнишка один, никого поблизости не видеть.

Ну, сел я. Малый на меня ноль внимания. Ревет. Я малость обождал, а потом спрашиваю:

— Ты чего, сынок, плачешь-то? Обидел кто?

— Нет.

— А чего ж тогда случилось?

Ничего. Так.

— Так и ворона не летает, так ничего не бывает.

Словом, разговор у нас получается малосодержательный.

А малый все ревет и ревет. Уткнулся носом в коленки и даже дергается.

Что ты будешь делать? Я уж и позабыл, как с маленькими обращаться: внучке девятнадцатый год, так что сам понимаешь — ситуация сложная. И жалко мальчишку, и как к нему подступить, не знаю. Ну, и брякнул, не подумав:

— Да что у тебя, помер кто?

— Умер, — говорит, а сам как закатится. — Наверняка умер!

— Как это — наверняка? В каком смысле?

Подсел я к нему поближе, за плечики обнял, успокаиваю.  
Тут он и говорит:

— Крокодил, кро-кро-код-дил мой умер. Мики...

От такого заявления меня аж в жар бросило.

— Какой такой крокодил, почему крокодил?

— Он хороший был, жил в стеклянном домике. Я к нему каждый день приходил. Ему тетя Маша зубы чистила. Такой щеткой на палке. Швабра называется. А потом из кишки полоскала...

Слушаю я мальчишку, половины понять не могу, а сам думаю: «Свихнулся парень. Не иначе». Ну сам посуди, где это видано, где это слыхано, чтобы тетя Маша крокодилу зубы чистила?

Но как бы там ни было, здоров парень или болен, все равно в таком состоянии ею не бросишь. Решаю отвлечь его:

— Слушай, а звать-то тебя как?

— Кого? Меня?

— Ну, ясно, тебя.

— Меня Радиком зовут.

— Слушай, Радик, а кто тебе сказал, что крокодил, значит, того... помер?

— Никто не сказал. Я все прихожу, а его все нет. Уже третий день нет. И тети Маши нет. Куда же им деваться?

— И это все? Все, что ты знаешь?

— Все.

— Ну, тогда пошли, Радик.

— А куда?

— Как — куда? Пошли в дирекцию, выясним, уточним, а тогда уже можно и убиваться будет.

Уговорил. Пошли. В дирекции нам сказали, что крокодил Мики жив и здоров, только по случаю жаркой погоды его перевели в другое помещение, на новой территории.

Парень мой, как услышал такую новость, прямо ожил. И, конечно же, бежать рвется. Но я его не отпустил. Чтобы на

новую территорию попасть, надо улицу переходить, а там трамвай. Думаю, как бы на радостях под вагон не угодил. Одного не пустил. Пошли мы вместе. Нашли крокодила. И действительно, лежит эта тварюга в бассейне, пасть разинула, а какая-то пожилая тетка в синем халате зубищи ему начищает. Все точно, как Радик рассказывал: трет шваброй и из резинового шланга споласкивает...

Я чуть языка не лишился. А Радик от восторга прямо приплясывает. И от слез никакого воспоминания не осталось, только подтеки на щеках.

Тут можно бы и сказать — все происшествие, да не совсем. Чертов этот крокодил и на меня, старого, влияние оказал. Точно.

Пошел я Радика в юннатский кружок устраивать. Есть такой кружок при Зоопарке. У них, видишь ли, приема не было, поэтому Радик и ходил к крокодилу своему «дикарем», так сказать, в неорганизованном порядке. Но я старый жук, я знаю: такого положения не может быть, чтобы в большом хозяйстве лишняя штатная единица не сыскалась. Тут все дело в том, как подойти.

Словом, пока я Радика к месту определял, не заметил, как сам устроился. Теперь у меня должность: общественный инспектор Московского отделения Всесоюзного общества защитников и любителей природы. Во!

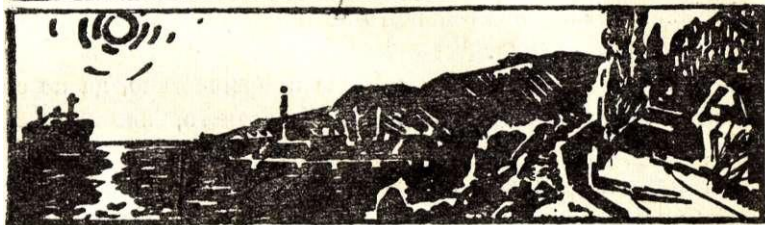
Конечно, я больше хозяйственными вопросами занимаюсь. Все-таки практика и связи кое-какие остались. Но недавно в командировку ездил. Из Кавказского заповедника получил двух туров. Ну, и с ребятами много вожусь. Серьезный народ — крокодилы! Им палец в рот не клади: моментально оттяпать могут.

*Москва.*





## 523 Письма



Мы познакомились в санатории, в первый послевоенный год. Сначала только раскланивались в столовой. Мой сосед по столу, немолодой мужчина с усталым, дочерна загорелым лицом, был всегда молчалив и вежливо сдержан. Он не вступал в обычные курортные разговоры. Не рассказывал о своих болезнях, не интересовался чужими недугами. На вопросы отвечал коротко, сам никого ни о чем не спрашивал. Казалось, санаторий ему в тягость, отдыхающие — помеха.

Однажды мы встретились на пешеходной тропинке. Идти рядом и молчать было неловко. Я сказал:

— Отдыхаем вместе, сидим за одним столом, а как друга друга зовут, не знаем, — и представился.

— Дауев Батырбек Александрович, капитан дальнего плавания, — равнодушно ответил сосед и протянул руку.

Мы шли рядом и молчали.

Чувство неловкости не исчезло, только усилилось - набился на знакомство, а человеку это, может быть, неприятно. Надо было как-то поддержать разговор, но ниточка сразу же оборвалась, и я не знал, как мне поступить.

Выручил Дауев.

— Вы кадровый офицер? — спросил капитан.

— Так точно, в кадрах с тысяча девятьсот тридцать девятого.

— Вам лучше. Думать ни о чем не надо — как служили, так и будете служить. А тут, — он резко махнул рукой, точно отсек что-то, — ничего не понятно...

Тропинка кончилась. Мы пришли на ровную, выложенную тяжелыми серыми плитами площадку.

Дауев расстегнул китель. Подавшись вперед, он долго всматривался в морскую даль. Лицо заострилось, весь он поджался, напряжился. Живые черные глаза исчезли — на лице остались только две узенькие темные щелочки.

Не помню теперь, что я тогда сказал, — что-то пустяковое, лишь бы отвлечь человека от его невеселых мыслей. Дауев ответил скупо, неохотно. Но я еще что-то сказал, и мало-помалу мы разговорились.

О себе Дауев рассказывал сдержанно. Прошло немало времени, не один раз была измерена пешеходная тропа, прежде чем я узнал некоторые подробности его жизни.

Дауев начал плавать в пятнадцать лет. Был юнгой на сейнере. Был матросом и старшим матросом на траулере. Учился и стал третьим помощником на сухогрузе. С годами получил диплом капитана дальнего плавания. Потом началась война, и его призвали в Военно-Морской Флот. Это были, так сказать, вехи обычной, официальной биографии моряка. Дауев был женат. Видно, его семейная жизнь не удалась. Однажды, когда я его спросил о работе на сейнерах, он сказал:

О чем спрашиваете, какая там работа: рыбу — стране,

деньги — жене. Вот и вся радость. — И сразу же круто пере-  
менил курс разговора.

Он любил море. О море рассказывал всегда подробно, неза-  
метно увлекался. Средиземный бассейн, Атлантика были ему  
знакомы в тех же подробностях, что мне московский Арбат и  
площадь Маяковского,

Дауев многое видел и многое знал. Когда он рассказывал о  
чужих странах, о далеких океанских дорогах, слушать его было  
особенно интересно.

— Если вы когда-нибудь попадете в Суэц, обязательно при-  
глядитесь к памятнику Лессепсу. Он стоит справа, у самого вхо-  
да в канал. Позеленевшая бронзовая фигура жадно вглядывает-  
ся в море. Смотришь, и кажется, сейчас крикнет: «Мое, мое —  
все мое!» Впрочем, я думаю, что Лессепс долго не удержится па  
своем месте. Арабы должны подняться, и тогда, будьте уверены,  
ни англичанам, ни Лессепсу не устоять в Порт-Саиде...

Да, Дауев хорошо знал мир. Действительно, когда через  
десять лет после этого разговора судьба занесла меня в Африку,  
от памятника Лессепсу остался только скользкий подножный  
камень, а от англичан — одно темное воспоминание.

У Дауева была дочь, Тамара. Она родилась за пять лет до  
начала войны.

Дауев ничего не знал о судьбе девочки. Семья эвакуирова-  
лась из Одессы, когда капитан был в море. Вот уже несколько  
лет подряд он писал всюду — запрашивал официальные учреж-  
дения, пытался найти родственников, прежних соседей по до-  
му — напрасно: все следы исчезли.

Однажды, поздно вечером, мы засиделись на набережной.  
Пахло водорослями и остывающим камнем. В черноте моря по-  
казались оградительные огни невидимого судна,

— Пассажир, должно быть. На Туапсе идет, — сказал  
Дауев.

Огни медленно поднимались. По морю скользили теперь не  
только мачтовые фонарики, но и желтые, освещенные изнутри

иллюминаторы; в радужном ореоле медленно плыли малюсенькие палубные лампочки.

— Красиво, — сказал я.

— Вот бы Тамаре показать! — едва слышно выдохнул Дауев. — У моря родилась, а моря не видела...

На пароходе мигнул и погас прожектор. Снова мигнул и, торопясь, заморгал часто-часто.

— Точно. Пассажир, — сказал Дауев. — «Крым». Вызывает порт.

Берег ответил пароходу.

Дауев внимательно следил за световым телеграфом и, когда перемигивание оборвалось, сказал:

Порт желает ему: «Счастливого плавания». Хорошо. Правда? Тонна-мили, пеленги, расписание — все это важно, а «Счастливого плавания» — хорошо!

Незаметно мы подружились. Вместе ходили в горы и на море, вместе читали газеты, дожидались друг друга перед столовой, когда один из нас опаздывал на обед.

И каждый день мы бывали на почте. Каждый день терпеливо выстаивали в длинной очереди перед маленьким полукруглым окошечком. И всякий раз, когда мы приближались к табличке «Выдача корреспонденции до востребования», я видел, как подтягивался Дауев. Лицо его напрягалось, на скулах каменили желваки.

Хорошенькая загорелая девушка из почтового отделения узнавала нас. И всегда, не заглядывая в ячейки с почтой, говорила:

— А вам покуда еще пишут, товарищ Дауев.

Он благодарил девушку и деревянным, тяжелым шагом отходил в сторону.

— Мне тоже ничего нет? — спрашивал я и подмигивал нашей знакомой.

Она понимала меня:

— И вам покуда еще пишут.

За своими письмами я приходил потом, один.

Так продолжалось долго, почти весь месяц. Наконец знакомая девушка еще издали — мы только успели прикрыть за собой дверь — крикнула:

— Товарищ Дауев, товарищ Дауев! Скорее идите сюда. Письмо!

Очередь расступилась.

Дауев поспешно взял большой серый конверт. Руки у него чуть заметно дрогнули, когда он прикоснулся к бумаге, и, не поблагодарив девушку, он отошел от барьера. Все стулья в зале были заняты. Капитан присел на низкий подоконник и начал читать.

Он не вскрикнул, не изменился в лице, не опустил головы. Но сразу потускневшие его глаза все объяснили. Молча положил я ему руки на плечи.

В другое время я бы никогда этого не сделал, но тут, когда никакие слова не имели смысла...

— Прямое попадание в эшелон, - незнакомым голосом сказал Дауев и скомкал письмо.

Мы не заметили, как к нам подошла девочка. Тоненькая, с двумя смешными косичками торчком, она внимательно смотрела на Дауева.

— Что тебе, девочка? — спросил я.

Она потеряла босую грязную ножку о ножку и, обращаясь к Дауеву, тихо спросила:

— Можно мне марку взять?

— Что? Какую марку?

— Эту вот. — И она показала на серый конверт, валявшийся на подоконнике.

— Марку? Зачем тебе марка?

— Собираю.

— Зачем?

— Все мальчишки собирают. И я собираю. Интересно.

Похоже было, что Дауев только теперь увидел девочку и

понял, о чем она говорит. Лицо его сделалось мягче. К нему вернулся обычный голос.

— Как тебя зовут, дочка? — спросил Дауев.

— Галя.

— А фамилия твоя как?

— Бабошко.

— Возьми, Галочка, марку, а мне дай свой адрес. Я буду присылать тебе самые красивые марки со всего света.

— А почему со всего света? Вы кто?

— Я капитан дальнего плавания, Галочка. По-осетински меня зовут Батырбек, а по-русски — Борис. Запомнишь?

— Запомню.

— Давай адрес.

— Улица Матюшенко, дом одиннадцать, Галине Михайловне Бабошко.

С почты мы шли шумным приморским бульваром. Дауев заговорил не сразу:

— Я ждал этого сообщения. Думал, если найдется дочка, останусь в кадрах. Предлагали преподавать в училище. Мечтал пожить на берегу. С Томкой. Теперь все. Демобилизуюсь. Возьму танкер. Буду до доски плавать. Перед войной обещал жене — двадцать лет отплаваю, и точка. Слово дал. Теперь нет больше никаких слов. Прямое попадание. И все...

На другой день я увидел Дауева в форме. Погоны капитана второго ранга лежали на его широких плечах как припаянные. Орденская планка перечеркнула половину груди. Он был в белых перчатках, при кортике.

— Уезжаю, — сухо сказал Дауев.

— Осталось же пять дней до конца, Батырбек Александрович.

— Ничего больше не осталось. Надо ехать.

— Счастливых вам плаваний, — сказал я.

— Спасибо. И вам — счастья. До свиданья.

Через час он уехал.

...С тех пор прошло пятнадцать лет. И снова я очутился в маленьком курортном городке. Все здесь изменилось - ничего не узнать. Только море осталось таким же, как всегда. Оно шумело прибоем, рвалось на серые камни мола, осыпало набережную веселыми брызгами,

Я сидел на приморском бульваре, грелся на солнышке, следил за чайками и слушал последние известия. Диктор читал о пуске новой электростанции, об открытии университета культуры в алтайском селе, о прибытии чьей-то торговой делегации в Москву. После короткой паузы хорошо поставленный голос объявил:

— Слушайте сообщение ТАСС. Телеграфное Агентство Советского Союза уполномочено сообщить, что вчера (было названо число и точное время) в нейтральных водах (были названы точные координаты) военным кораблем неизвестной принадлежности был обстрелян советский танкер «Нева», следующий из Батуми во Владивосток. В результате этих разбойничьих действий на танкере возник пожар. Капитан судна Дауев радировал...

Диктор медленно, очень отчетливо произносил слова, и мне показалось, что я так никогда и не узнаю самого главного: живы или нет?

Наконец он сказал:

— Героическими усилиями команды танкер спасен. Шесть человек получили тяжелые ожоги. «Нева» продолжает рейс. В авторитетных кругах нам сообщили: принимаются решительные меры к установлению принадлежности военного корабля, совершившего бандитское нападение в открытом море...

Я с облегчением вздохнул — живы.

И сразу вспомнил суровое лицо капитана Дауева, и наш последний поход на почту, и Галю Бабошко — маленькую девочку с двумя смешными косичками, и ее адрес — улица Матюшенко, 11.

"Пойду, — решил я. — Обязательно пойду".

На мой стук вышла сухонькая старушка в чистом розовом переднике.

— Бабошко Галину Михайловну можно повидать? — спросил я и козырнул, по старой военной привычке.

— Галину Михайловну? Галину Михайловну повидать можно, только не Бабошко она теперь, а Максимова, — сказала старушка и, как мне показалось, опасливо покосилась на мои нарукавные нашивки.

Она повела меня по узенькой дорожке к крыльцу. Перед самым домом спросила:

— Вы кто ж, извиняюсь, будете — капитан?

— Нет, — сказал я. — к сожалению, не капитан.

— И не морской службы вообще?

— Нет. Летчик, командир корабля.

— Ну, слава богу, — перекрестилась почему-то старушка и пронзительно крикнула: — Галя! Галина! Гость к тебе!

На террасе застучали каблучки. Распахнулась дверь, и я увидел молодую, стройную женщину в простеньком ситцевом платье.

Женщина внимательно посмотрела на меня и приветливо улыбнулась:

— Здравствуйте! Какой же вы молодец! Вспомнили, нашли.

— Узнали, Галина Михайловна?

— А как же! Сразу узнала. Пожалуйста, заходите в дом.

Мы уселись на маленькой зеленой террасе, и Галина Михайловна стала рассказывать удивительные вещи.

— Помните тогда на почте ваш товарищ разрешил мне оторвать марку от конверта и спросил адрес? Потом вы сразу ушли. Помните?

— Конечно, помню. Не помнил бы — не нашел вас.

— Ну вот. Прошло много времени. Вдруг приносят к нам заграничное письмо. Кому? Мне. На конверте написано:



«Галине Михайловне Бабашко». У меня даже сердце, заболело. Марка египетская. И это я — Галина Михайловна!

Я пытаюсь представить себе ту далекую худенькую девочку Галиной Михайловной и улыбаюсь.

— В конверте лежала красивая открытка. На ней было написано: «Порт-Саид» — ворота Красного моря. Помню. Держу слово. Батырбек». Через три недели — письмо с Цейлона. И опять открытка внутри и несколько слов: «Этот остров пахнет лимонами. Коломбо — лучший город Индийского океана. Помню. Держу слово. Батырбек». И так месяц за месяцем, год за годом. Пятьсот двадцать три письма получила! Сейчас покажу.

Галина Михайловна ушла в комнату и быстро возвратилась со стареньким школьным портфелем под мышкой. Портфель грозил вот-вот лопнуть, так туго он был набит.

Галина Михайловна высыпала передо мной кучу писем.

Откуда только они не были отправлены: Египет, Индия, Вьетнам, Бразилия, Франция, Аргентина, Куба, снова Африка и снова Индия...

— Много лет эти письма приносили мне радость, — рассказывала Галина Михайловна. — Я привыкла к ним, ждала. Если писем долго не было, волновалась. А потом начались огорчения.

Галина Михайловна замолчала. Сквозь просвет в виноградных лозах она пристально всматривалась куда-то в даль. В светлых ее глазах дрожали два маленьких солнечных зайчика.

— Три года назад я вышла замуж. С первого дня Сережа не перестает меня ревновать к этим письмам. Он очень хороший, Сережа, но, когда он начинает злиться и кричать, требуя, чтобы я немедленно сожгла все эти «международные приветы», мне хочется ударить его стулом по голове. Три года подряд он спрашивает, кто такой Батырбек. А что я могу сказать? Капитан дальнего плавания, больше я ничего о нем не знаю...

В палисаднике гулко хлопнула калитка. Под тяжелыми шагами захрустела галька. И, раньше чем Галина Михайловна

успела собрать рассыпанные на столе письма, на террасу вошел высокий красивый парень в модной клетчатой рубашке.

Не могу сказать, чтобы он очаровал меня своею любезностью, хотя слова его были не то что вежливые, а, пожалуй, даже изысканные:

— Рад приветствовать доблестного представителя морского флота в своем доме. С детства питаю слабость к капитанам дальнего плавания. Простите, с кем имею честь?

— Мне очень жаль, но я вынужден вас огорчить, — стараясь попасть в тон, ответил я. — Если уж я непременно должен что-либо представлять в вашем доме, то могу представлять только воздушный флот.

Он смутился.

Мы пожали друг другу руки. И я без лишних слов рассказал Галине Михайловне и Сергею (отчество его я так и не слышал) все, что знал о Батырбеке Александровиче.

— А я, дурак, черт знает что думал! — по-доброму улыбнулся Сергей. — Даже неловко как-то. Телеграмму бы ему послать, что ли? Как вы думаете, можно?

— Почему же нельзя? Конечно, можно.

— Так мы ни адреса, ни фамилии не знаем...

— Адрес простой: «Одесса. Черноморское пароходство. Танкер «Нева». Дауеву».

— Как? Дауеву? — Сергей даже привстал. — Тот самый, о котором сегодня по радио говорили?

— Тот самый.

— Какие же ему слова надо послать? — задумчиво сказала Галина Михайловна. — Такой человек. И в такой момент. Какие слова?

— Я знаю немножко Батырбека Александровича, ребята. Самые лучшие для него слова — простые слова «Счастливого плавания». Пошли.

Темнеющими приморскими улицами мы шли на телеграф.

На молу красными всплесками загорался и гаснул маяк.

Где-то далеко в море медленно покачивался топовый огонь невидимого парохода.

Мы вошли в душный зал городского телеграфа, и Сергей написал размашистыми большими буквами на голубом бланке:

**СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ!  
ГАЛЯ, СЕРГЕЙ, АНАТОЛИЙ.**

Не удержался и добавил:

**ПРИЕЗЖАЙТЕ, ЖДЕМ.**

*Ялта.*



В молодости Трушин плавал кочегаром. Потом сдал экзамен на машиниста и был убежден, что жизнь его удалась как нельзя лучше. О нем говорили: «Звезд с неба не хватает, но везет хорошо». Действительно, он «вез» хорошо: знал ровно столько, сколько ему полагалось по должности; никогда не жаловался на тяготы морской службы; охотно помогал товарищам, никогда ни с кем не ссорился.

За несколько лет до войны в судьбе Трушина произошел неожиданный поворот. Его вдруг избрали парторгом судна.

— Честный, добросовестный товарищ, — сказал на партийном собрании второй помощник капитана, — справится. А трудно будет, так мы все ему поможем,

Трушин не успел еще прийти в себя, а голосование было уже закончено. Ему пожимали руки, его поздравляли,

- Чувствуешь — единогласно! Давай действуй.
- Цени доверие и, главное, не зазнавайся, Трушин.
- Вира помалу! У тебя пойдет.

И он работал, как велела ему совесть, и действительно не зазнавался.

Война сделала парторга Трушина сначала политруком, а потом комиссаром. Воевал он в морской пехоте. Воевал трудно; был несколько раз ранен.

Трушин ходил с десантом на Малую Землю под Новороссийском, участвовал в штурме Керчи, с первыми частями вернулся в Одессу.

Война сильно изменила тихого, застенчивого машиниста. Его жесткие, прежде черные волосы утратили блеск и как бы подернулись пеплом; грубо слеplенное лицо стало еще тяжелее.

Война многому научила Трушина.

Он умел теперь поднять в атаку батальон; умел принимать обдуманные решения под артиллерийским огнем и авиационной бомбежкой; умел свое великолепное спокойствие передать окружающим.

Война сделала его безразличным к опасностям, обострила до крайности чувство ответственности, Трушин и на войне оставался работягой, и не было для него понятия выше, чем короткое, требовательное — надо.

Надо — и он шел в атаку впереди своего батальона.

Надо — и он отдавал труса под суд трибунала.

Надо — и он показывал пример личной отваги.

Если б ему надо было умереть, он бы без колебаний умер.

Надо!

А потом, когда война кончилась, Трушина демобилизовали. Он не возражал. Он никогда не был кадровым офицером, и демобилизация казалась ему вполне естественной.

Трушин собирался снова вернуться в торговый флот и занять скромную должность судового машиниста.

Но судьба распорядилась иначе. Начальник отделения кадров спросил Трушина:

— Вы член партии с тридцать второго года?

- Так точно, — ответил Трушин.
- Во время войны были политработником?
- Так точно.
- На курсы повышения квалификации, надеюсь, смотрите положительно?
- В принципе — положительно.
- Вот и отлично! Поезжайте на курсы, а потом мы назначим вас на пароход. Нам надо укреплять политический состав флота. Решено.

И Трушин попал на курсы.

Нет, не все ему было по душе па этих курсах. Его раздражали отчетные документы, которые он должен был учиться составлять. Он предпочитал бы говорить о простых, самоочевидных вещах без обязательных ссылок на классические первоисточники. Вообще, он хотел бы иметь больше дела с живыми людьми, чем с бумагой. Но его никто не спрашивал, чего бы он хотел. Он знал: надо пройти программу, надо сдать зачеты, надо быть положительно аттестованным...

Вот он и делал все от него зависящее, чтобы не отставать от других и честно выполнить все, что надо было выполнить.

Трушин успешно закончил курсы и получил назначение на пароход «Терек» — первым помощником капитана.

В новой должности Трушин исполнял все, что ему предписывали многочисленные инструкции и длиннейшие радиogramмы, регулярно под любыми широтами и долготами поступающие на его имя сверху. Он проводил общие собрания экипажа, готовил совещания агитаторов, записывал и доводил до всех тексты последних известий, передаваемых по радио, следил за выпуском стенной газеты, проверял работу всех судовых служб и интересовался занятиями заочников... Ему приходилось много разговаривать, и он очень уставал от этой утомительной, а вовсе не такой легкой, как кажется, постоянной работы.

В море Трушин, естественно, жил на глазах у команды. И это заставляло его постоянно заботиться о своей внешности.

Матросы видели: первый помощник всегда до синевы выбрит, всегда подтянут и наутюжен (стирал и гладил он всегда сам), Трушин никогда ни на кого не повышал голоса, он был отменно выдержан и справедлив.

Случалось ли ему волноваться? Случалось. Первый помощник всей душой, как говорится, болел за успехи «Терека», и, если на пароходе что-нибудь не ладилось, Трушин делался угрюмым и буквально на глазах у людей худел.

И еще он волновался, когда в команде кто-нибудь заболел. Особенно если это случалось вдалеке от наших территориальных вод. Тогда Трушин по десять раз в сутки навевался в изолятор, без конца спрашивал: «Как дела?» И, если ему казалось, что дела идут недостаточно быстро, не очень доверяя судовому медику, он непременно организовывал радиоконсилиум. Трушин очень огорчался при этом, если на запросы «Терека» отвечал не сам начальник медицинской службы пароходства, а кто-нибудь из его заместителей.

И все-таки Трушина не любили.

Признавали: первый помощник капитана человек выдержанный, добросовестный, справедливый — все правильно, и все-таки что-то в нем не то...

Трушину подчинялись, с ним почти никогда не спорили, пожалуй, его даже уважали, но уважали по необходимости, как уважают параграф устава (нравится при этом тебе параграф или не нравится — сие не имеет решительно никакого значения). Положено, и всё!

Трушин понимал, что его не любят матросы, видел, что и капитан — старый морской волк — не очень его жалует; знал, что на «Тереке» все за глаза величают его обидным прозвищем «Помпа», -все это было ему известно, беспокоило и огорчало... но что он мог сделать?

Иногда Трушину казалось, что на войне было проще. И тогда ему случалось сталкиваться с человеческим недоверием, с насмешливым взглядом слишком прыткого новобранца, с нетерпи-

мастью старшего командира. Но он знал: авторитет не присваивается, авторитет завоевывается. И Трушин вытаскивал из потрепанной кирзовой кобуры выдавший виды пистолет ТТ и одну за одной всаживал восемь пуль — всю обойму — в едва черневшую за пятьдесят шагов папиросную коробку или заржавленную консервную банку. И недоверие исчезало.

Он предлагал необстрелянному новичку завернуть самокрутку под артогнем. И когда тот, не смея отказаться, раз за разом рассыпал дрожащими пальцами драгоценную махорку, Трушин говорил пареньку: «А ты не волнуйся, сынок. Бесполезное это на войне занятие. Я давно заметил: кто волнуется, того раньше убивает», — и протягивал ему великолепно ровную, стройную, как балерина, «козью ножку».

И никогда больше он не видел самоуверенной насмешки в мальчишечьем взгляде.

Он умел, выйдя из уставных рамок, расстегнуть две верхние пуговицы гимнастерки и, блеснув голубыми полосками тельняшки, коротко обрубить разгневанного начальника:

«А ты на кого кричишь, командир? На флот? На партию? Или на меня лично?»

И самые невыдержанные командиры спотыкались о его взгляд — чутьочку иронический, чутьочку презрительный и всегда абсолютно прямой. Спотыкались, переставали шуметь, переходили на «вы».

На войне он умел завоевывать авторитет.

А тут, тут у него ничего не получалось.

Трушин произносил длинные, совершенно правильные, но скучнейшие речи; каждый проект резолюции начинал стандартными, как угловой штамп, словами. Дальше помещался солидный отрывок из передовой статьи бассейновой газеты «Моряк». И снова выдавался заряд общих положений...

Речи Трушина выслушивались, проекты резолюции принимались единогласно, «Терек» считался одним из лучших сухогрузов в пароходстве, и, казалось, Трушин смирился со всем



на свете. В конце концов, он честно заслужил спокойную старость — многими годами работы в машине, четырьмя годами войны, всей своей жизнью добросовестного работника.

Но рано или поздно старые мины взрываются.

Ночью «Терек» вошел в Суэцкий канал.

Утром вахтенный помощник доложил капитану:

— В льяле<sup>1</sup> второго трюма уровень воды поднялся выше нормы. Помпы работают — уровень не понижается.

Капитан вызвал старшего механика, боцмана и старшего помощника; разумеется, на совещании присутствовал и Трушин.

Причины проникновения воды в льяло могли быть разные: могла ослабнуть заклепка в обшивке борта, мог дать течь один из внутренних трубопроводов, могло... Многое еще могло случиться. Так или иначе, надо было принимать меры, и решений у капитана было только два: либо задерживаться в Порт-Саиде, нанимать грузчиков, освобождать трюм от зерна, после чего обследовать льяло, либо выполнить всю эту работу силами команды, по возможности на ходу, не теряя драгоценного времени, не тратя лишней валюты.

Капитан знал: путь к льялу преграждают шестьсот тонн пшеницы, навалом ссыпанной в трюм; и еще он знал: термометр с утра в тени показывает тридцать шесть с половиной градусов; в распоряжении капитана было сорок четыре человека — восемьдесят восемь рук, включая его собственные капитанские руки...

— Будем пробиваться к льялу собственными силами, — сказал капитан. — В крайнем случае, если не справимся, зайдем в Исмаилию. Общий аврал!

Старший механик и боцман первыми вышли из капитанской каюты. Трушин догнал их на палубе. Он сказал боцману:

— Вызывайте всех: и фельдшера, и радистов, и буфетчика — всех, кроме кока.

<sup>1</sup> Льяло — водосборный отсек в корпусе судна.

— Известное дело — всех. На то и общий аврал. Ясно без комментариев...

Через десять минут тридцать шесть человек — остальные были заняты в машине и на ходовой вахте — собрались около второго трюма. Все уже знали, какое решение принял капитан и какая их ждет работа.

Поблескивая белыми молодыми зубами, машинист Федор Зайцев сказал:

— Ну, сейчас, братцы, Помпа появится, отслужит молебен, объяснит задачу, призовет, а тогда уж и начнем...

И действительно, Трушин появился.

Он был босиком, в голубых застиранных трусиках, на шею висело вафельное полотенце. Трушин не спеша спустился по трапу, не доходя шагов трех до трюма, остановился, внимательно поглядел в загорелые лица команды, зачем-то погладил барaban лебедки и произнес свою лучшую на пароходе «Терек» речь. Трушин сказал:

— Пошли, мужики! — и стал первым спускаться в трюм.

Работа была мучительно тяжелой. Температура в трюме перевалила за сорок. Воздух, начиненный пшеничной пылью, казалось, стал плотнее, словно бы спрессовался. Пыль забивалась в волосы, въедалась в кожу, саднила в глотке, вызывая острый, как удушье, кашель.

Блестящий от лота, с взъерошенной шевелюрой, с грязной серой шерстью на груди, Трушин стоял по колено в зерне и, ловко орудуя ведром, откидывал хлеб за сооруженную из мешков перегородку.

Люди смотрели на Трушина и удивлялись. Казалось, матросы взглядом спрашивают друг у друга: «Интересно, на сколько его хватит?»

Но через полчаса никому уже не было до него дела: все купались в соленом поту, хрипели — легким не хватало воздуха. А зерно вроде бы и не убывало. Шестьсот тонн — это очень много: это десять железнодорожных вагонов.

Трушин работал вместе со всеми. Он назначил себя правофланговым и отлично понимал: как бы ни было тяжело, сдавать он не имеет права. Над всеми и над ним властвовало слово капитана: «Надо пробиться к льялу своими силами». А слово капитана — тот же боевой приказ.

Надо.

В коротких перерывах, объявляемых боцманом, Трушин находил в себе силы разыгрывать тех, кто черпал зерно не полными ведрами, он даже острил и вспоминал подходящие к случаю боевые эпизоды.

В этот день смертельно усталый Трушин снова почувствовал себя комиссаром. И впервые за последние годы он был вновь таким же, как в боях под Новороссийском, Керчью, Одесой.

Трушин видел противника — осыпавшееся, коварно шуршавшее зерно. Противнику помогала жара. Противника поддерживала пыль.

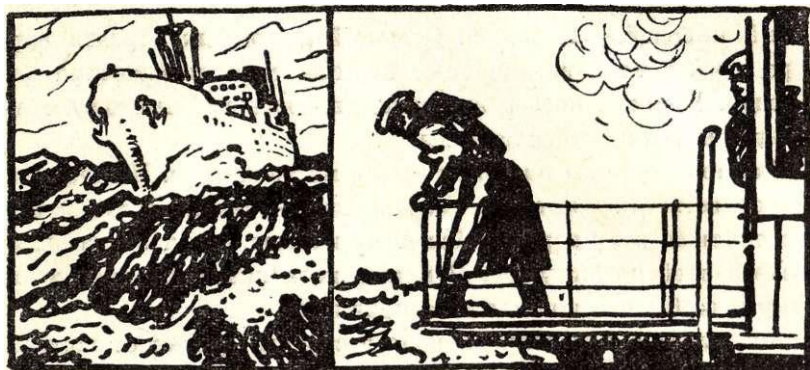
Трушин видел и своих солдат, они наступали с ним рядом, у них была ясная цель — сбить противника, отбросить его, прорваться к самому днищу трюма, туда, где притаилось льяло.

Комиссар военного времени, внезапно проснувшийся в первом помощнике капитана, знал что и знал как надо делать.

К вечеру у Трушина так разболелась контуженная голова, что он почти перестал видеть. Но первый помощник не ушел из трюма. Он оставался там до конца — все шестнадцать часов, пока не закончилась работа.

Трушин поднялся на палубу в Красном море. Он качался, как пьяный. Его мучили сердечные спазмы. Он даже не видел улыбок, которыми его провожали измочаленные не меньше его люди. Он не слышал скупых слов одобрения, впервые за всю службу на «Тереке» адресованных ему, первому помощнику капитана — Дмитрию Михайловичу Трушину.

*Индийский океан,  
«Белоруссия».*



*„Нелсон тоже..“*



До шторма было еще далеко, но покачивало уже основательно. Тяжело переваливаясь с борта на борт, «Терек» двигался девятиузловым ходом. Норд-вест дул неровно — то усиливался, то утихал, — и с каждым часом волновая толчея делалась все бестолковей, все круче.

Сначала на пароход прорывались только отдельные волны, потом пенный поток на палубах загремел не переставая.

Взмыленный океан наступал с правого борта. Великаны волны резко взметывались над судном, истончались, становясь светло-голубыми, прозрачными, и с глухим грохотом падали на ржавую палубу.

Задраили все, что возможно было задраить, протянули штормовые леера, проверили крепление шлюпок и трапов. Вахтенные получили приказ внимательно наблюдать за всеми, кто выходит наверх.

Шторм набирал силу.

В восемь утра вахту принял третий помощник капитана, самый молодой, — Ромашов. Старший помощник передал ему курс, последние навигационные данные, свои наблюдения за погодой. Расписавшись в журнале, он пожелал Ромашову счастливой вахты и спустился вниз.

Ромашов остался на левом крыле мостика один. И сразу же он почувствовал тревогу и беспокойство — океан наступал все настойчивей, все упорней. Казалось, каждая новая волна была выше и злей предыдущей. Ромашов побаивался шторма. И на это у него были основательные причины...

Он вырос в центральной полосе страны, далеко от водных просторов, и море открылось для него неожиданно.

Несколько лет назад в поселок Фастово, Пензенской области, приехал разбитной золотозубый человек. Одет он был, по фастовским понятиям, роскошно: голубовато-серый просторный костюм, рыжие остроносые полуботинки, на шее яркий рисунчатый галстук. Ходил золотозубый не как все люди — он широко расставлял ноги, подвертывал носки туфель внутрь, слегка покачивался из стороны в сторону.

И сразу же приезжий зачастил в клуб. Знакомясь, он рекомендовался представителем отдела кадров пароходства.

Конечно, он был заправским моряком. Об этом свидетельствовали его растатуированные до самых локтей руки. К тому же он неудержимо сыпал морскими словечками и вдохновенно врал о тропиках и Антарктиде, о китобоях и дизель-электроходах.

«Представитель» отдела кадров звал молодежь на море. Он обещал будущим матросам рай на воде и вечное блаженство на том свете. По его словам выходило, что служить во флоте интересно, легко и, главное, очень выгодно.

— Сходил раз в загранку — одет, обут, сыт, пьян, нос в табке. А какой почет в Одессе! Выйдешь в сингапурских брючатах на Приморский бульвар — ой, мамочки, что творится! До аплодисментов доходит — во, че-слово!

Между делом он успешно занимался «частной практикой». Десять минут страха, двадцать пять рублей убытка — и человек уходил от него с пожизненно изуродованной синим клеймом рукой, ногой или грудью.

В Фастове разбитной вербовщик задержался ненадолго. Говорили, что убраться из поселка ему помогла милиция. Был он, как выяснилось, обыкновенным жуликом и к морю имел отношение весьма сомнительное: никогда никуда не плавал, просто ловил простаков и промышлял татуировкой.

Впрочем, Ромашова золотозубый делега не сумел прельстить ни голубыми русалками на теле, ни обещаниями рая на воде, ни заманчивыми видами заморских пальм.

Ромашов был любознательным малым, он много читал, у него уже начали складываться свои самостоятельные взгляды на жизнь. И дешевые приемы подозрительного проходимца были слишком примитивны, слишком грубы для него. И все-таки однажды он подумал: «А почему, собственно говоря, в море надо начинать с матроса? Есть ведь не только шестимесячные курсы, есть еще и мореходные училища».

Всякое целое число начинается с единицы. Любому решению предшествует первая мысль.

«Какое оно, море, далекое и незнакомое?» — спросил себя однажды Ромашов, а дальше пошло: «Как прокладывают штурманы пути в океанах? Как ведут они свои корабли сквозь туманы и штормы?»

В маленьком сухопутном поселке нелегко приобщиться к морю. Но, как известно, кто хочет — тот добьется, кто ищет — тот найдет.

С некоторых пор на самодельной книжной полке Ромашова Станюкович, Новиков-Прибой, Соболев начали решительно наступать на учебники русского языка, тригонометрии, химии. Не сбитой с прежних позиций осталась только «Экономическая география капиталистических стран».

В конце концов Ромашов принял решение. Аттестат зрело-

сти был отправлен в Высшее мореходное училище. Он хорошо запомнил этот пыльный, жаркий день, когда подал в окошечко почтового отделения плотный пакет с необходимыми документами. Тогда ему представлялось, что все совершенно ясно. Это было семь лет назад.

С тех пор третий помощник капитана Ромашов проложил на море не одну борозду. Но всякий раз, когда усиливалась зыбь и через фальшборт начинали перепрыгивать посветлевшие, отороченные нарядной пеной волны, Ромашова охватывало тоскливое беспокойство.

Шторм усиливался. Вместе с океаном ревело небо, ревело судно, всхлипывала каждая снасть, Потускневшее солнце раскачивалось, как на качелях.

«Терек» начал принимать воду на бак. Вода шумно рвалась к клюзам, стучала в комингсы, завивалась воронками на палубах.

На мостик поднялся капитан. За ревом океана, за тяжелыми ударами ветра Ромашов не расслышал его шагов и не доложил. Капитан окликнул вахтенного помощника, но, прежде чем отозваться, Ромашов перегнулся через борт и долго судорожно вздрагивал плечами — его тошнило. Наконец Ромашов обернулся. Лицо у него было белое, покрытое крупными каплями пота, в ресницах запутались слезы. Он было поднес руку к козырьку, но судно Накренилось, и он едва удержался на ногах.

— Трудно? — прокричал капитан.

— Ничего, — ответил Ромашов,

— Иди вниз. Полежи.

Ромашов отрицательно покачал головой,

— Определялись? — спросил капитан.

— Сейчас буду, — насилу выдавил Ромашов и снова упал грудью на борт.

Капитан поморщился и, широко расставляя ноги и придерживаясь обеими руками за ограждение, пошел в штурманскую

рубку за секстантом. Через минуту они стояли рядом на ходившем ходуном мостике, и оба, каждый своим секстантом, целились в солнце.

У Ромашова мелко, как в ознобе, тряслись руки и непослушные, словно чужие, пальцы никак не могли сдвинуть алидаду.

— Ну? — спросил капитан.

Ромашов назвал свой отсчет.

— Разница в две десятые. Нормально.

Вместе они пробрались в штурманскую рубку, вместе колдовали над вырвавшимися из рук астрономическими таблицами.

Записывая в вахтенный журнал координаты, Ромашов старался вывести их четко и ровно. Но цифры никак не держались на ногах — они то заламывали шапки, как пьяные, то вдруг сползали куда-то вниз. Ромашов стирал корявые цифры ученическим ластиком и писал снова. Два раза у него ломался карандаш. Ромашов затачивал его на специальной машинке, повернутой к переборке.

Капитану надоело смотреть, как мучается третий помощник, и он сказал:

— Плюнь. Видишь, штивает. Каллиграфией потом займешься.

Но Ромашов упорствовал. Писал и стирал и снова писал. Наконец он заполнил все графы, нанес точку нахождения судна на карту, определил величину дрейфа и доложил капитану свои соображения относительно поправки курса.

— Хорошо, — сказал капитан, — доверните.

Но, прежде чем скомандовать рулевому, Ромашов выскочил из рубки. Когда он вернулся, лицо у него было совсем землистым, руки дрожали еще заметней, под глазами набрякли синие отеки.

— Ступай вниз. Полежи, — снова сказал капитан.

И снова Ромашов отрицательно покачал головой.

— Ну чего куражиться? Совсем ведь дошел.



— Говорят, — Ромашов попытался улыбнуться, — Нельсон тоже... всю жизнь укачивался. И ничего — плавал.

— Утешаешься? — не зло, без насмешки спросил капитан.

— Утешаюсь, — ответил Ромашов и посмотрел на часы.

До конца вахты третьего помощника оставалось два часа. А до пенсии — больше тридцати лет...

Была пора летних муссонов. Индийский океан штормовал всерьез. «Терек» валяло с борта на борт. Временами над водой поднимался даже кингстон, и тогда к сумасшедшему реву океана прибавлялся еще тревожный, звериный стон корабля, судорожно глотавшего воздух.

*Индийский океан,  
"Белоруссия".*



**18.00 - 19.00**  
 / РАССКАЗ БОЦМАНА /

Судовые работы окончены. Службу несут только вахтенные, все остальные отдыхают. День выдался пасмурный — море спокойное, серое, с холодными синеватыми проблесками и небо серое, словно в клубах легкого дыма.

На пятом трюме, как всегда в тихую погоду, собрался судовой клуб. Пока не стемнеет, здесь будут играть в шахматы, читать, забивать козла, а когда сумерки сгустятся и невозможно делается отличить ферзя от короля, тогда наступит час «морской травли».

Кто-нибудь скажет первым: «А вот помнишь, Коля, как мы в Калькутте загорали...» — и пойдет: потекут одна за другой морские истории, были и небылицы, невероятные происшествия и самые прозаические случаи, юмористические рассказы и трагические повествования — вот все это вместе и есть «морская травля».

У «морской травли» свой постоянный час — 18.00 - 19.00.



Начинает на этот раз Голубцов. Отложив шахматную партию, он пристает к машинисту Феде Зайцеву:

— Рассказал бы ты, Федюнчик, как тебя первый помощник в ответные разгильдяи произвел. А?

— Пошел бы ты к черту! — огрызается Зайцев.

— Ну, зачем так резко, Федюнчик, мы же с тобой заклятые друзья. А это что значит? Это значит, что нам положено делиться опытом. Ну, давай-давай, травани, Федя...

— Я сказал: пошел к черту! Тебе мало?

— А все-таки это звучит: «отпетый разгильдяй». Возможны варианты: «недопетый разгильдяй», или «перепетый разгильдяй», или «оберразгильдяйскиус-нормалис»...

— Перестань! — неожиданно строго говорит боцман и решительно переходит в наступление.

И что это за идиотская привычка над человеком, над своим же товарищем, измываться, тем более что он уже вполне отполированный! Со словами надо бы поаккуратнее обращаться. Вот ты, Голубцов, лопочешь — «отпетый», а что это значит, почему он отпетый? Он кто — бандит, рецидивист, каторжник? Да-а, любим мы, чуть человек провинится, сразу его шпынять, прорабатывать, сто раз моралью кормить. До того кормим, пока он той самой моралью не подавится. Так уговариваем, так стараемся объяснить, что ты человек пропащий, конченный и безнадежный, как будто нам это в радость.

А толк? Толк, глядишь, наизнанку и выходит. Кто душой послабже, тот ведь запросто поверить может. И делает вывод: раз я все равно пропащий и отпетый, значит, мне терять нечего. Доходит человек до такой точки, и тут уж с ним действительно никакого сладу нет.

Вот откуда половина резолюций и получается: уволить, исключить, под суд! А разобраться хорошенько — так ведь сами помогли человеку свихнуться.

Возьмем конкретный случай.

В войну я служил на тральщиках. Был у нас матрос Рыбаков. Иван Васильевич Рыбаков, как сейчас помню. Сам он из поморов, потомственный мореход и, натуральное дело, по службе — из орлов орел. А что касается воинской дисциплинки, то верно — прихрамывал Иван Васильевич. Было. Не подумайте, что он уж чего-нибудь очень страшное выдавал, а так, все больше по мелочам нарушал.

Я так понимаю: вольная стихия, гражданская, значит, повадка из него еще выветриться не успела. С ним бы по-хорошему надо было потолковать. Усовестить, разъяснить. Тем более что человек-то он был душевный.

Нет. Начали Ивана Васильевича склонять да прорабатывать, и что ни дальше, то больше. Только и слышно стало: разгильдяй, отпетый, тюрьма по нем плачет и все в таком роде.

Рыбаков уж и оправдываться перестал. Встанет, бывало, столбом — перед командиром ли, на собрании ли — и молчит. Только глазами хлопает. А ему за это еще и гордость приписывают. Вот, мол, такой и разедакий, ко всему еще и ошибок своих признавать не желает.

А Рыбаков все равно молчит. Видать, привык и смирился и сам себя безнадежным стал считать.

Мало внутренних с ним неприятностей было, так подвалило еще и внешнее происшествие.

Попал Иван Васильевич на берег. Идет от морвокзала к трамвайной остановке и нагоняет женщину. У женщины той мешок на плече, в руке чемодан. Рядом девочка совсем еще маленькая топаёт, между прочим, за чемодан ручонкой держится — вроде бы матери помогает.

Рыбаков, значит, приближается к неизвестной женщине, берет под козырек и говорит:

— Разрешите помочь в вашем затруднительном положении?

Ясное дело, женщина обрадовалась, благодарит, отдает ему чемодан (Иван Васильевич и мешок прихватывает — он муж-

чина был здоровеннейший), а сама в кильватер пристраивается и девочку берет на буксир.

Пока еще никакого происшествия нет.

Но на первом же углу Рыбакова комендантский патруль застопорил. Майор из наземных пальчиком подзывает к себе матроса и с ходу спрашивает:

— Трищ краснофлотец, что у вас за вид?

Рыбаков начинает объяснять положение, а майор его не слушает, перебивает:

— Трищ краснофлотец, вы, извиняюсь, кто — военнослужащий или верблюд?

Рыбаков молчит. А что ему отвечать?

— Трищ краснофлотец, я вас спрашиваю!

— Так точно, военнослужащий.

— Не видно, трищ краснофлотец. Нет у вас воинского виду. На мешочника вы похожи, на верблюда...

И тут Рыбакова прорвало. В пять минут он тому майору весь зоологический сад перечислил и кто кому родственник объяснил. Короче говоря, очутился наш Иван Васильевич на гарнизонной гауптвахте.

Тут он свое положение и вовсе усугубил: все, что майору излагал, повторил перед дежурным по гарнизону.

Дежурный вызвал врача и, поскольку тот признал краснофлотца Рыбакова психически вменяемым и вполне здоровым, передал нашего Ивана Васильевича в военный трибунал.

Страшное дело получается, когда две правды лоб в лоб сталкиваются. У Рыбакова правда своя — хотел женщине помочь. И у коменданта правда своя — не может допустить, чтобы рядовой краснофлотец порядок нарушал да к тому еще и дерзил и офицерские погоны оскорблял. Выходит, оба по своему правы.

Если б Ивана Васильевича до того случая меньше поносили да потерпеливее с ним обходились, он, быть может, и не допустил бы таких словесных неприличностей, не сорвался с якорей,

а тут понесло человека — за все выговорился и положение свое конек испортил.

По тому времени в трибунале дела быстро заканчивались. Дали Рыбакову три месяца штрафной роты, поставили точку, и всё — жаловаться некому.

Увезли, значит, Рыбакова под конвоем куда там следовало, а у нас на тральщике проработка еще продолжалась. Так сказать, заочным порядком. Теперь его уже не разгильдяем именовали, а самое малое военным преступником, а то и вовсе врагом народным...

Однако двух месяцев не прошло — возвращается Рыбаков на тральщик. Старпом его как увидел, аж вздрогнул.

Но Рыбаков, не смущаясь, подходит свободным шагом, руку к виску и докладывает:

— Товарищ капитан-лейтенант, краснофлотец Рыбаков прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы.

— Документы!-только и смог сказать старший помощник.

Подает Иван Васильевич документы. И выходит по тем бумагам все правильно: освобожден из штрафной роты досрочно, судимость с него снята вчистую. Заслужил. А как?

Попал, значит, Иван Васильевич на Карельский фронт. На Вяртсильском направлении положение тогда неважнецкое было. Местность, прямо сказать, гиблая, куда ни шагнешь-болото. А единственную дорогу финны так укрепили, что и не думать соваться. И, главное, что выдумали: все проволочные заграждения, что впереди дотов и впереди ежей, словом, впереди всей саперной премудрости поставлены были, сплошь пустыми бутылками, жестянками из-под консервов и всякой гремучей дрянью увешали. Для чего? А расчет-то простой — как к проволоке наши приблизятся, так, значит, сигнализация и срабатывает.

Вот тут как хочешь, так и решаешь задачу. А решать надо.

На форсирование проволочных заграждений с этими самыми

погремушками назначили штрафной батальон. Тот самый, в который наш Рыбаков попал.

И что ж, вы полагаете, Иван Васильевич удумал?

Выпросился один заграждения раскрыть. Один за весь батальон!

Пополз ночью. А заранее такой механизм наладил. Со сбитого самолета лебедку снял, размотал с нее трос, надставил. А лебедку в воронке от снаряда укрепил. Теперь ночью пополз он со свободным концом того троса к самым проволочным заграждениям и зацепил конец на первом же колу. Осторожно сработал — ни одна железячка не звякнула, ни одна бутылка не брякнула. Отполз назад, в воронку, и давай лебедку крутить.

Тут все заграждения как загудят, забренчат — прямо жуть! Ну, вроде всей силой полк в прорыв пошел. Финны, конечно, огонь открыли. Хороший дали огонек: всю свою же проволочную оборону раздолбали и огневые точки раскрыли. А нашим только то и нужно было.

Через полтора часа лопнула их оборона на Вяртсильском направлении. А подсчитайте, сколько наших людей на этом деле зазря не погибло? Тоже, я вам скажу, факт!

Рыбакову за лебедку полную амнистию определили и к медали «За отвагу» представили.

А к чему вся история? Вот вы мне и скажите теперь: если б Иван Васильевич на самом деле гад какой был, полез бы он один за весь батальон рисковать? Да ни в жизнь!

Вот и выходит — пусть человек споткнулся, пусть ошибся, пусть и неладно что сделал, не торопись осуждать. Поспешите разобраться. Отпетым, разгильдяем, вредителем — никогда не поздно обозвать. Главное — помочь человеку вовремя! Руку ему подать, плечо подставить. Вот тогда и будет все правильно получаться: тогда только человек человеку настоящим братом, другом и товарищем делается.

*Индийский океан,  
«Белоруссия».*



## Честный бой



Утро было синее-синее. Солнце, расколовшись на миллион ослепительных зайчиков, подрагивало в окнах домов, отражалось в хромированных ободках автомобильных фар, в каплях росы на листьях.

Солнце горело всюду.

Как всегда в утренний час, люди спешили. Я тоже торопился. Александр Иванович Коренев, тот самый знаменитый Коренев, заслуженный мастер спорта, бывший чемпион страны по боксу, назначил встречу ровно на девять.

Шагая зеленым, пронизанным солнцем бульваром, радуясь запоздавшей весне и теплу, я невольно репетировал предстоящую встречу.

«Здравствуйте, Александр Иванович», — скажу я.



«Здравствуйте», — ответит Александр Иванович и пригласит пройти в комнату.

В дверях надо будет протянуть Кореневу корреспондентское удостоверение и так это, между прочим, заметить:

«Пожалуйста, «Спортивная газета»...»

«Ну что вы, — скажет Александр Иванович, — к чему формальности! Очень рад. Присаживайтесь, прошу...»

Мы сядем на диван, и я спрошу, когда он начал заниматься спортом, кто был его первым тренером; потом я попрошу его рассказать о самой трудной победе... И не забыть бы узнать, сколько медалей заработал Александр Иванович за свою спортивную жизнь и какой приз он ценит больше всего. Ну, а потом надо будет обязательно выяснить, каковы его планы на будущее. И что он хотел бы пожелать молодежи.

Кажется, все?..

На красную, усыпанную кирпичной крошкой дорожку свалилась вдруг куча горластых встрепанных воробьев. Прокричав что-то радостно-возбужденное, воробьи улетели. Я посмотрел на часы и прибавил шагу.

Дверь открыла пожилая женщина.

— Мне Александра Ивановича, — сказал я и наклонил голову точно так, как это делал мой любимый киноактер Виктор Батов. У Батова этот чуточку небрежный и в то же время абсолютно вежливый поклон получался просто шикарно.

— Проходите, пожалуйста, — сказала женщина и крикнула куда-то внутрь квартиры: — Саша, молодой человек тебя спрашивает!..

— Из газеты, — тихо, но твердо подсказал я.

— Газету, говорит, принес.

— Сейчас иду, — густым голосом ответил Александр Иванович, — только два раза махну бритвой и появлюсь. Проводи товарища ко мне.

Маленькая комната Коренева была полна солнца. Первое, что я заметил, — подвешенную к потолку кожаную грушу, по-

том — гантели, лежавшие около батареи парового отопления, и, наконец, большущий аквариум с золотыми рыбками на подоконнике.

На столе лежали стопка заграничных журналов и толстый том технического справочника. Ни чемпионских грамот, ни фотографий Коренева на ринге я не обнаружил — стены, оклеенные медово-желтыми обоями были чисты. Только над диваном висела пара пузатых боксерских перчаток.

На этом мои исследования кореневского жилища были прерваны: дверь распахнулась, и в комнату стремительно вошел хозяин.

— Здравствуйте, Александр Иванович, — сказал я и полез в карман за удостоверением.

— Привет! Интервью собираетесь брать? Конечно, вас интересует, когда я начал заниматься спортом? Кто был моим первым тренером? Вероятно, вы хотите, чтобы я рассказал о самой трудной победе?..

Представляю, какой дурацкий вид у меня был в этот момент! Потому что Александр Иванович вдруг громко расхохотался, хлопнул меня по плечу и сказал:

— Ты уж, пожалуйста, не обижайся. Будь другом — пойми: вот уже двадцать лет все корреспонденты задают мне одни и те же вопросы. Привык. Знаю наизусть. Кстати, сколько тебе лет?

— Восемнадцать, — сказал я и насторожился.

— Честных восемнадцать? Я думал, тебе больше. Восемнадцать — это здорово! Восемнадцать — это очень здорово. А мне вот сорок. Старик. В таком возрасте люди дедушками уже бывают... А зовут тебя как?

— Толя, — сказал я и почувствовал, что краснею.

Можно ли ляпнуть большую глупость, чем представиться так? Корреспондент «Спортивной газеты» Толя! Прямо-таки: привет от старшей группы детсадика. Кошмар! Но Александр

Иванович, кажется, ничего не заметил или сделал вид, что не заметил. Он сказал:

— Вот что, Анатолий, пойдём-ка на кухню чай пить. Заодно и побеседуем.

— Может быть, мне лучше обождать вас здесь? — деликатно возразил я и наклонил голову на манер Виктора Батова.

— По-моему, всегда лучше пить чай с медом, чем сидеть в пустой комнате. И вообще, брось-ка ты пыжиться. Все-таки экс-чемпион я, а не ты. Пошли!

...Мы пьём чай в маленькой кухне. Мама Александра Ивановича подкладывает на мою тарелку седьмую оладью. Я понимаю: быть таким прожорливым при исполнении служебных обязанностей неприлично, но оладьи вкусноты необыкновенной, и остановиться я не в силах.

Александр Иванович спрашивает, сколько времени я работаю в газете, почему не пошел в институт сразу после десятилетки, каким видом спорта занимаюсь... Словом, пока что интервью берет он. А я только разглядываю Александра Ивановича.

Корнев среднего роста, у него широченные плечи, длинные жилистые руки. Лицо крупное. Светлые веселые глаза часто щуруются, можно подумать, что Александр Иванович близорук. Он мне очень нравится. В Корневе нет ничего «чемпионского» — ни могучего квадратного подбородка, ни подчеркнутой значительности манер. Простой, обходительный, очень крепкий человек. Вот и все.

Разделавшись с оладьями и медом, мы возвращаемся наконец в комнату Александра Ивановича и усаживаемся на диване.

Теперь самое время задавать ему вопросы, но я чувствую, что в голове у меня не осталось ни одной путевой мысли. Надо ли удивляться? Мне всего восемнадцать. Первый раз в жизни

удалось встретиться с таким человеком. Я растерялся, я просто покорен его обаянием.

Надо спрашивать, надо делать дело, я же пришел брать интервью, а не в гости...

В зеленоватом аквариуме плавно маневрируют пучеглазые рыбешки. Кажется, даже они смеются надо мной.

— Ну что ж, Анатолий, спрашивай, а то через полчаса мне надо будет уйти. В твоём распоряжении тридцать минут. Давай!

— Вы меня совсем сбили, — беспомощно лопочу я, — может быть, Александр Иванович, вы сами расскажете... О главном, понимаете, о том, что вы считаете самым — самым важным для боксера. А?

Корнев смотрит сначала на рыбок, потом — на перчатки, висящие на стене, на заграничные журналы, сложенные на столе, и говорит:

— Вот если б ты сумел записать мой рассказ об одной давней, очень давней встрече, Толя, это и был бы, наверно, разговор о самом главном. Ты знаешь, кому принадлежал тысяча девятьсот тридцать шестой год?

— В каком смысле, Александр Иванович, принадлежал?

— Тридцать шестой год во всех смыслах принадлежал Испании. Сначала Мадрид, потом вся страна поднялась тогда против фашизма. Отчаянная была борьба.

Мы в то время в мальчишках еще ходили. А мальчишкам, как известно, положено гонять мяч, резаться в лапту, играть в разбойников. Ну, что там еще? Я уже позабыл. Но в тот год мы больше всего интересовались делами Валенсии и Бильбао, событиями в Астурии и на Гвадалахаре. Мы каждый день читали газеты. За карту Испании крупного масштаба я не задумываясь отдал коньки.

Боевые действия Интернациональной бригады — была такая бригада, в ней дрались коммунисты со всего света — сводили нас буквально с ума. Веришь, мы готовы были пешком

рвануть за Пиренеи. Мы мечтали скорее вырасти, чтобы поехать в Испанию драться! Драться за свободу народа, который гордо сказал тогда: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

Рассказывал Александр Иванович ровным, спокойным голосом, но я видел, как его тяжелые большие ладони медленно сжимаются в кулаки. Видел, как белеют косточки на пальцах. Не дай бог принять прямой удар такого кулака, не защищенного боксерской перчаткой...

— Когда там стало совсем трудно, испанских ребятишек решили эвакуировать подальше от войны. Многие тогда приехали в Советский Союз. Помню, как мы встречали республиканских детей. Маленькие испанцы, черноволосые, темноглазые, великолепно держались. Ты пойми обстановку: они хотели драться вместе с большими, но им велели ехать в СССР, и они поехали. Мы им сочувствовали.

Понемногу ребята-испанцы привыкли к нам. Они учились в наших школах, играли с нами в футбол-кстати сказать, отлично играли, — отдыхали в Артеке. Мы вместе мечтали стать летчиками — такими, как Чкалов, и капитанами -такими, как Воронин. Словом, мы жили одной семьей. И вот однажды календарь соревнований свел меня на ринге с Рокэ Гидеза.

Корнев снова смотрит на рыбок, потом на перчатки, висящие над нашими головами. Кулаки его разжались. Большие, тяжелые руки мирно лежат на коленях. Глаза прищурены. Мне кажется, что Александр Иванович прислушивается к чему-то.

— Рокэ был ниже меня и на год моложе, и весил он меньше, наверно, килограммов на пять.

Мы пожали, как положено, друг другу руки и начали бой. Рокэ энергично атаковал, я защищался. Сначала я замечал только черные перчатки и быстрые, отрывистые движения его рук. Конечно, я видел и красные трусы, и широкие плечи Рокэ, и его наклоненную курчавую голову, но это были вообще трусы, вообще плечи, вообще голова... Если ты никогда не дрался на

ринге, тебе, наверно, не понять этого состояния. Так всегда бывает: до какого-то момента перед тобой противник вообще, потом ты начинаешь оценивать партнера. И тогда понимаешь: левая у него слабей, голову он держит слишком низко; ты замечаешь капельки пота, проступившие у него на лбу, и радуешься — значит, он устал; ты слышишь: дыхание его стало короче и снова радуешься — чем труднее противнику, тем легче тебе. Теперь очень важно схватить момент, выбрать точку поражения и бить, бить всем весом, всей силой, всей яростью души. Если ты правильно оценил противника, если ни в чем не ошибся, будь уверен — победа придет. Обязательно придет.

Александр Иванович замолкает, смотрит на перчатки, "висящие на стене, чуть-чуть улыбается каким-то своим мыслям и продолжает:

— В середине второго раунда я понял: Рокэ плохо закрывает подбородок; сближаясь, спешит бить по корпусу и, сам того не замечая, раскрывается.

«Крюк правой собьет его с ног, — подумал я, — непременно собьет». И тут я увидел глаза Рокэ. Черные, блестящие глаза отчаянного человека. Про глаза много написано: и зеркало души, и вообще... Не буду повторять затрепанные, чужие слова. Боюсь. Скажу коротко: Рокэ глядел на меня глазами Испании — страдающими, гордыми, но непокоримыми...

И я понял: у меня никогда не хватит мужества нокаутировать Рокэ. Силы — хватит, мужества — никогда...

Встречный взгляд в бою — не длиннее выстрела. И все же: если я прочел яростное страдание в лице Рокэ, то и он успел заметить мое колебание.

И сразу же Рокэ отскочил в дальний угол ринга, опустил перчатки и закричал что-то гневное, обжигающе злое. Судья остановил бой. Мне перевели слова Рокэ:

«Зачем ты раскрылся?! Ты сильнее, нокаутируй меня! Не смей раскрываться нарочно! Честный бой! Пусть бой будет честный...»

И все испанцы закричали с трибун:

«Ла луча онрада! Честный бой! Фуэра! Позор!..»

«Ты понял? - спросил меня судья. — Ты понял, что они кричат?»

«Понял, - сказал я, — но я вовсе не нарочно раскрылся, так вышло».

«Бой!» — крикнул судья и отскочил от нас. Мы снова сошлись.

Легкая тень проскальзывает по лицу Александра Ивановича и сразу же исчезает. Он снова спокоен, приветлив, снова чуть-чуть улыбается, одними губами:

Мы дрались как черти, и я проиграл встречу. Рокэ нокаутировал меня на последней секунде схватки. Между прочим, это был единственный нокаут за всю мою спортивную жизнь. Потом мы встречались еще. Выигрывал и я, выигрывал и Рокэ, но только по очкам.

Александр Иванович снимает со стены пузатые боксерские перчатки и говорит:

— Эти перчатки Рокэ подарил мне после войны. Читай.

На левой перчатке выцарапано ровными печатными буквами:

«Честный бой — честная победа. Саше — Рокэ».

— Рокэ давно уже не выходит на ринг. В войну он потерял руку. Он был летчиком пикирующего бомбардировщика «Пе-два». И руку потерял в честном воздушном бою. Вот и всё. Больше я уже ничего не успею рассказать. Мне пора уходить.

Мы прощаемся.

И снова я иду по бульвару.

Утро по-прежнему синее-синее. Солнце, расколовшись на миллионы ослепительных зайчиков, подрагивает в окнах домов, отражается в хромированных ободках автомобильных фар, оно успело высушить росу на листьях и во всю свою неиссякаемую силу греет влажную, зеленую землю.

*Москва.*



## Фитин



Историю эту придется начать с середины. Пожалуйста, извините меня, но так будет лучше. И наберитесь терпения.

На днях я зашел в аптеку. Надо было купить зубную пасту, лезвия, новую мыльницу — я собирался в очередную командировку. Аптека была как аптека — пахло лекарствами, у прилавков толпился народ.

Раздумывая, какая паста лучше — польская, китайская или наша собственная, — я вдруг заметил на прилавке коробочку с фитином.

Вы знаете, что такое фитин?

Я тоже толком не знаю. В одном можно не сомневаться: фитин — лекарство. Могу еще сказать, что фитин — лекарство пожилое, оно существовало задолго до того, как появились витамины. Это я точно помню.

И вот, взглянув на аккуратные белые коробочки с голубой надписью «ФИТИН», я пришел почему-то в отличное располо-



жение духа и все время пытался вспомнить, откуда мне известно это название, что оно напоминает.

С пастой «Санит», лезвиями «Спутник» и флаконом одеколна «Весна» в карманах я ушел из аптеки. А в голове засел этот чертов фитин. По улицам спешили люди, не прерывался поток машин, в высоком ясном небе оставил свой росчерк стрелочка-самолет, но все это почти не доходило до моего сознания. В голове поселился фитин, он буйствовал и распевал: «Фи-тин, фи-тин, фи-фи-фи-тин, тин, тин...»

Так продолжалось добрых два часа. Наконец я вспомнил, откуда мне известно это название.

Давно, еще до войны, мы жили в большом, шумном доме. Дом был обыкновенный, таких в Москве сколько угодно, пятиэтажный, с гулким темноватым двором. Усилиями несовершеннолетних жильцов во дворе удалось соорудить волейбольную площадку, а для самых маленьких — «пяточок» с песочником. Оттого, что двор был тесен, ребячье население нашего дома казалось особенно многочисленным.

Теперь я уже плохо помню, кто в какой квартире жил, у кого какая была кличка, кто куда девался потом... Впрочем, забыл я не всех. Знаю, что Сенька из седьмой квартиры, именовавшийся почему-то «Мыло», стал в войну полковником, командовал танковой дивизией и прославился под Берлином. Знаю, что Жердьяй — самый длинный мальчишка в доме — работает теперь на ЗИЛе, у него две дочери, одна уже в институте, а Булка — Машка снимается в кино. Раньше она играла симпатичных девочек, но теперь переключилась на роли скандальных соседок.

Так вот, жил в нашем доме один удивительный паренек. Звали его, кажется, Колей. Окна его квартиры были угловые, на первом этаже. Это я совершенно точно помню. Был Коля лет на десять моложе меня и моих дружков. Так что понятно -

судьба его не очень нас занимала. Запомнилось только: целыми днями Коля бродил по двору, подбирал разные тяжелые предметы — обрезки водопроводных труб, камни, старый лом — и с непонятым упорством «жал» и «толкал» над головой всю эту ржавую дрянь.

Сначала его прозвали Чемпионом, но кличка не привилась. Виновата была Колина бабушка. Три раза в день она распахивала окно настежь и кричала на весь двор заполошным, противным голосом:

— Коля! Фитин принимать! Коля, фи-и-и-тин!

Худой, усыпанный веснушками, ушастый Коля безропотно бросал наземь очередную трубу и брел домой принимать загадочный фитин.

Мы его спрашивали:

— Для чего ты принимаешь этот фитин?

Он отвечал хмуро:

— Чтобы было здоровье, — и уходил насупившись, глядя себе под ноги.

Так его и прозвали — Фитин.

Вот откуда мне было известно это лекарство, вот какую старину оно вдруг напомнило. Сколько же лет прошло с тех пор? Двадцать? Пожалуй, даже чуточку больше...

Вспомнив наконец, откуда мне знаком фитин, я думал, что сразу же позабуду о нем **PI** успокоюсь, но не тут-то было. Фитин, поселившись в голове, продолжал петь на разные голоса: «Фи-тин, фи-тин, фи-фи-фи-фи-тин».

С ним не было никакого сладу.

И тогда я решил отправиться по старому адресу и узнать, что стало с живым Фитином. Для чего мне это понадобилось, не знаю, но, приняв однажды решение, я уже не мог отказаться от этой затеи.

За минувшие годы наш бывший дом, как ни странно, не постарел. Напротив, он выглядел даже лучше, чем прежде. Его надстроили, во дворе снесли дровяные сараи, нашли место для

маленького скверика. Вместо волейбольной площадки, повинуюсь моде, соорудили баскетбольную, поставили стол для пинг-понга, а там, где был «пяточок», возвели целый игровой городок для малышей...

Раздумывая, как бы поделикатней справиться о Фитине (я ведь и фамилии его не знал), я постоял в воротах, поглядел на все новшества и, не придумав ничего путного, пошел в глубь двора.

Мне повезло. На лавочке сидел очень старый человек. Я скорее угадал, чем узнал в нем нашего бывшего дворника Александра.

— Здравствуйте, дедушка Александр! — сказал я.

— Здравствуй, здравствуй, коль не шутишь, — ответил старичок.

- Не узнаете?

- Почему не узнаю? Елены Яковлевны сынок? Стало быть — Толька. Свободно узнал. И могу напомнить, как я тебя метлой с сарая ссаживал. Запомятовал? А я помню. Вы тогда с Жердяем заспорили, кто, стало быть, без парашюта вниз сиганет... А еще собака у тебя была. Кличка ей... погоди, погоди, сейчас объявлю... Стало быть, кличка ей — Булек!.. Дедушка Ликсандр все помнит. Будь уверен. Руки — на пенсии, а голова, извинаясь, пока еще работает.

Старик засмеялся тихим, булькающим смехом, а я, воспользовавшись паузой, приступил к расспросам.

Через пять минут мне стало известно, что Фитина действительно зовут Николаем, что фамилия его Понсов, что лет десять назад он переехал в другой район. Чем занимается Фитин, дедушка Александр не знал, но с удовольствием сообщил мне:

- А вымахал Колька что телеграфный столб! И здоровущий, холера, сверх всякой человеческой возможности. Бона, видишь, у ворот тумбы стоят? Когда двор оборудовали, — не сойти мне с этого места — этакую дуру он один на собственной хребтине переташил...

У меня ужасный характер: втемяшится что-нибудь в голову — ночей спать не буду, пешком сто километров отмахую, но не успокоюсь до тех пор, пока не докопаюсь до корня. И на этот раз я не мог остановиться, не разыскав бывшего Фитина, не узнав о судьбе Николая Понсова.

Не стану рассказывать, как он был удивлен моим посещением, как мы, можно сказать, заново познакомились с Колей. Интереснее поведать его историю.

— Мне было лет шесть или семь, — рассказывал Коля, — когда я в первый раз в жизни увидел настоящего штангиста. Кажется, это случилось в цирке. Штангист совершенно покорило мое воображение: это был не человек, а гора живых мускулов. Он швырял двухпудовые гири, как будто это были не гири, а резиновые мячики. Потом он взялся за штангу — рвал ее, толкал, жал... Звенели никелированные цирковые блины, музыка играла туш... Словом, возвратясь домой, я тут же стащил дедову палку, навесил на нее два чемодана и начал тренироваться. Сначала грохнулся один чемодан, потом я сам полетел на пол, потом палка неизвестно почему зацепилась за ходики... В итоге я заработал от отца превеликую баню.

Слушая Колю, я представлял себе маленького, худенького мальчугана со встрепанной головой и злющими глазами... Какие еще могут быть глаза у человека, который собрался совершить подвиг и вместо благодарности получил вливание с соответствующего конца? Ясно — злые.

— Но никакая баня не могла уже меня остановить. Я хотел быть таким, как тот человек из цирка. Я поднимал все, что попадалось под руку. Кто-то сказал мне тогда, что штангисту мало иметь крепкие руки, ему нужны еще и хорошо развитые ноги. Я начал делать приседания. Сколько раз вы можете присесть? — спросил меня Коля.

— Не знаю, — сказал я. — Наверно, раз пятьдесят.

— Ну вот, — обрадовался он, — а я каждый день делал по сто приседаний! Понимаете, сто! И ни одного раза меньше!

Бывало, ноги подкашивались и коленки дрожали, но я приседал...

— И долго это продолжалось?

— Что продолжалось? — не понял Коля.

— Такая тренировка.

— В общем и целом — вот уже больше двадцати лет.

Я даже присвистнул от удивления,

— Конечно, я уже давно не «дикарь» — занимаюсь в секции, как все нормальные люди.

— Сколько же труда вы потратили, Коля? — невольно, переходя вдруг на «вы», спросил я.

— Это можно, если хотите, подсчитать, — сказал Коля. Он взял карандаш и листок бумаги. — Двадцать лет — это семь тысяч триста дней. Для удобства округлим и будем считать ровно семь тысяч. Значит, всего было выполнено семьсот тысяч приседаний. За двадцать лет мой вес изменился, ну, скажем, от сорока до восьмидесяти килограммов. Значит, средний вес можно принять за шестьдесят килограммов. Грубо можно считать, что во время каждого приседания вес выжимается на высоту одного метра. Тогда работа, затраченная на приседания, составит: шестьдесят, помноженное на семьсот тысяч, — сорок два миллиона килограммометров.

Теперь подсчитаем работу, затраченную на толкание тяжестей. В среднем ежедневно поднималась примерно одна тонна на высоту около двух метров. Умножим вес на расстояние и на дни. Одну тысячу на две и на семь тысяч. Это даст четырнадцать миллионов килограммометров. Сложим сорок два и четырнадцать миллионов, получим пятьдесят шесть миллионов килограммометров.

Коля задумался.

Меня эти пятьдесят шесть миллионов совершенно ошеломили.

— Жаль, нельзя всю эту работу саккумулировать в одном толчке, — сказал Коля. — Представляете эффект: подойдишь,

берешь самолет «АН-десять» за ногу и забрасываешь на высоту в один километр... Здорово?!

— Слушайте, Коля, но как у вас хватило терпения, выдержки, упорства и всего прочего? Двадцать лет, каждый день, без пропусков, без выходных, без скидок?

— Бабушка, пока жива была, говорила, что это у меня от фитина. Она меня с детства кормила такими паршивыми пилюлями и все приговаривала: «Фитин, Колюня, для здоровья очень полезительный. Первое лекарство. Прими фитинчику...» Ну, я принимал — куда денешься. Ненавидел этот фитин, но глотал. Вот и выработалась, видно, система — три раза в день думать о здоровье...

Коля посмотрел на часы. Я понял — пора уходить.

Мы попрощались.

А через неделю я узнал из спортивной газеты, что заслуженный мастер спорта Николай Понсов улетел в Вену. Там начинались международные встречи штангистов. И как я радовался, узнав, что фитин помог Коле в третий раз завоевать звание рекордсмена Европы в полутяжелом весе!

*Адлер.*



Карл Августович Томбу прожил удивительную, полную радостей и тревог спортивную жизнь. Свою первую пятидесятикилометровую велогонку на шоссе он выиграл ровно сорок лет назад.

И с этого дня имя его не сходило со страниц мировой спортивной прессы.

«Черная молния» — называли его французы, «Эстонское чудо» — окрестили его шведы, «Король финиша» — величали его итальянцы, «Человек-смерч», «Загадочный Карл», «Победитель чемпионов», «Ракета Томбу» — звучные прозвища волочились за ним длиннейшим шлейфом.

В двадцать лет он был неожиданным открытием, печальным — для врагов, радостным — для друзей. В тридцать он продолжал блистать на крупнейших соревнованиях, вызывая ужас врагов и неумный восторг почитателей, В сорок Карл Томбу заинтересовал врачей.

«У этого человека аномальное сердце. Сердце его не знает

износа», — писал в спортивной газете солидный норвежский медик. Ему вторил коллега из Англии: «Полагаю, что организм известного спортсмена, многократного чемпиона и рекордсмена в области велосипедных гонок Карла Томбу, заслуживает специального, весьма тщательного изучения. Практика спортивной медицины вряд ли знает хотя бы еще один случай столь необыкновенной устойчивости сердечно-сосудистой, мышечной и нервной системы человека...»

И сразу же шумливая спортивная печать захлебнулась потоком новых крикливых заголовков: «Стальное сердце», «Нестареющий Карл», «Секрет вечной молодости», «Томбу под рентгеном. Никаких изменений!»

Летом Карлу Августовичу исполнилось пятьдесят. Он продолжал участвовать в соревнованиях, продолжал побеждать.

Но он старел.

И первыми поняли это его друзья. Нет-нет, выиграть у Томбу пятидесятикилометровую дистанцию было все еще не так просто, на финишном броске он оставался непревзойденным, но в последние годы Томбу все больше стал заниматься с мальчишками из спортшколы. И это был верный признак.

Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер страны, многократный чемпион, «ракета Томбу» готовил себе смену.

Ему исполнилось пятьдесят пять лет. Он только что закончил свой сороковой спортивный сезон и приехал отдыхать в Сочи.

Высокий, длиннорукий, чуточку сутулый, Томбу бродил по набережной, поднимался на Ахун, заплывал далеко в море. Его узнавали на улицах, ему улыбались совершенно незнакомые люди, хорошенькие девочки просили у Карла Августовича автографы, мальчишки считали за честь поправить ему туплекс, когда Томбу садился на велосипед.

Испытание славой — тяжелое испытание — Карл Августович выдерживал великолепно: он скромно кланялся людям, дарившим ему внимание, он шутил с девочками, кланчившими



автографы, здоровался за руку со своими постоянными секундантами-мальчишками.

В начале октября он получил письмо из Москвы в официальном конверте. На голубом бланке, украшенном эмблемой спортивного общества «Крылья», было напечатано постановление Центрального совета.

«В ознаменование заслуг заслуженного мастера спорта и в связи с сорокалетием спортивной деятельности К. А. Томбу Центральный совет общества «Крылья» постановляет:

Учредить Большой Золотой приз имени Томбу. Приз этот будет разыгрываться впредь ежегодно на дистанции в пятьдесят километров...»

В конверт было вложено еще и письмо от старейшего друга Томбу, в прошлом заслуженного велогонщика Платона Мукомолова, возглавлявшего ныне велосипедную секцию «Крыльев».

Платон сердечно поздравлял Карла. Особенно он подчеркивал, что приз имени здравствующего мастера спорта — редкость необычайная. Честно признавался, что «если уж не кривить душой, а быть совсем-совсем откровенным, то должен покаяться: завидую я тебе, Карл, завидую. Можешь казнить, можешь миловать — дело твое, а я вот распахнул душу и даже умилился...»

В самом же конце письма говорилось: «Было бы здорово, если б ты мог прибыть на розыгрыш приза в Москву. Гонка назначена на середину октября. Время, конечно, для велосипедных соревнований паршивое. Но тут уж ничего не поделаешь. Сам виноват — никто тебя не заставлял выигрывать свою первую золотую медаль 15 октября 1922 года в знаменитой Неапольской свалке. Факт этот стал ныне историческим, а, как известно, историю «улучшать» не рекомендуется».

На другой день Карл Августович послал в Центральный совет спортивного общества «Крылья» такую телеграмму:

**«ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ ТРОНУТ ВАШИМ ВНИМАНИЕМ, БЛАГОДАРИЮ ЗА ВЫСОКУЮ ЧЕСТЬ, ПРОШУ ДОПУСТИТЬ К УЧАСТИЮ В РОЗЫГРЫШЕ БОЛЬШОГО ЗОЛОТОГО ПРИЗА.**

**Карл Томбу»,**

Телеграмма наделала шуму.

Грузный, давно утративший спортивную форму Мукомолов высказался со свойственной ему прямоотой и резкостью:

— Не ждал. Прямо скажу — не ждал. Приехать, поприсутствовать, поздравить победителя — это нормально, это правильно. А самому за свой, так сказать, именной приз гоняться... Некрасиво... Или жадность его заела? Не ждал...

Глава судейской коллегии Ной Гурамишвили тоже был удивлен.

— Понимаешь, формально, юридически, какие могут быть возражения? Никаких. Приз разыгрывается среди мастеров, понимаешь. Он кто — мастер? Мастер. Может участвовать? Может. Подчеркиваю: юридически — может. С точки зрения, понимаешь, этической — некрасиво, но формально — бесспорно.

Так, или примерно так, думали все «старики».

И только Шершневу, сильнейший мастер шоссейных гонок, не согласился со «стариками».

— Эх люди, люди! Мелко плавааете! Неужели ж вы не понимаете: может быть, в последний раз решил Карл Августович выйти на соревнование. Лебединая это его песня. Пока никто в мире еще не выигрывал приз своего собственного имени. А он надеется. Ведь сорок лет побеждал. Сорок... Такого тоже еще никогда не было и вряд ли когда-нибудь будет.

Шершнева уважали. Павел Михайлович Шершневу был не только сильным и выносливым человеком, носителем многих спортивных званий и титулов, - он отличался еще широтой натуры и настоящей доброжелательностью к людям.

Велосипедисты помнили, как в одной из труднейших гонок он отдал запасную трубку молодому гонщику, заколовшемуся третий раз за десять километров до финиша.

Ему говорили:

— Ты с ума сошел. Это же соревнования, а не богадельня!

— Так он же молодой, зеленый еще — жалко.

И видно было, что Шершневу на самом деле жаль незадач-

ливого парня. И каждый понимал, что Шершневу, отдавая запасную трубку, вовсе не думал о том, кому он вручает шанс на победу: одноклубнику или «противнику». Он просто помогал человеку, попавшему в беду.

Перед гонкой к Шершневу подошел Валерий Темницкий:

— Слушай, Паша, ты как думаешь, кто выиграет?

— Стеценко, пожалуй, или Сергей Мукомолов...

— А кто, по-твоему, должен выиграть?

— Должен?

— Да.

— Ты хочешь сказать — Карл...

— Именно.

— Может быть... может быть...

— А точнее?

— Стеценко поймет тебя, Валерий Муканов тоже поймет и Зарьян поймет, я уже понял. Но Сережка Мукомолов — никогда. Вылитый папаша. Никогда не поймет...

— Хорошо, но мы: Стеценко, Муканов, Зарьян, ты и я, что ж, мы впятером не сумеем объяснить ему?

— А если Карл догадается? Ты представляешь, что будет тогда?

— Не должен догадаться, Паша, ни в коем случае не должен.

— А ребята?

— Ребята — как мы.

— Ну, тогда все.

— Все!

Сорок шесть гонщиков впервые берут старт пятидесятикилометровой гонки на Большой Золотой приз имени Карла Томбу.

Черное блестящее шоссе. Холодный боковой ветер. Мелки-

ми зарядами взрывается редкий дождик. На синих мотоциклах — четыре краснолицых старшины милиции: они сопровождают гонщиков. На зеленом мотоцикле — судья на дистанции. Через каждые два километра — контрольные посты. На двенадцатом посту красная пирамидка с флажком: поворот.

И снова скользкое шоссе, хмурое осеннее небо, пожелтевший лес — случайные свидетели велосипедной баталии, и там, далеко-далеко за подъемом-тягуном, — белая ленточка финиша и красный столик, и на нем Большой Золотой приз имени Карла Томбу: сияющая фигура велосипедиста, низко пригнувшегося к рулю, на зеленой, словно волна, малахитовой подставке. Подставка массивная. В нее врезана пока еще совершенно гладкая пластина. С годами на бронзе появится длинный столбик имен. Сегодня будет выгравировано первое имя.

Чье?

Главные претенденты ясны: Стеценко, Сергей Мукомолов, Шершневу, Темницкий, сам Карл Августович Томбу, Муканов и Зарьян.

Но кто же все-таки будет победителем?

Об этом говорить еще рано.

Победитель в общей группе лидеров повернул вокруг тумбочки с флажком, он нажимает на педали, набирая скорость.

Группа лидеров идет плотно.

Первым, расплескивая мелкие лужицы, отворачивая голову от ветра, несется Валерий Темницкий, «на колесе» у него сидит Сергей Мукомолов, вплотную за ним следуют Зарьян, Муканов, Шершневу; Томбу и Стеценко чутьочку приотстали.

Исхлестанное ветром кирпично-красное лицо Шершнева. Плотно сжатые губы. Настороженные, прищуренные глаза...

Низко опущенная голова Зарьяна. Напруженные руки. Лицо забрызгано грязью. Хитроватый, чуть скошенный взгляд...

Грузная посадка Мукомолова-младшего. Ноги, словно мо-

гучие шатуны, раскачивающие педали. Промокшая до черноты желтая шерстяная рубашка. Чуть приоткрытый рот...

Идет шоссейная гонка. Исчезают километры под невесомыми капроновыми трубками велосипедных колес, расстояние до финиша делается все короче. На предельном режиме работают сердечные моторы; гонщики настороже: кто-то должен решиться, кто-то должен вот-вот пойти на отрыв.

Вместе идти легче. Валерий Темницкий, лидирующий группу, как наконечник стрелы, рассекает воздух. Но так не может продолжаться долго. И нельзя всем сразу порвать одну финишную ленточку.

Мукомолов чуть-чуть прибавляет темп и едва заметным движением руля отводит свою машину влево...

И сразу же Шершневу встает на педалях и резким коротким броском достает Мукомолова.

Мукомолов видит его красное, припухшее на ветру лицо совсем близко. Мукомолов косит глазом вправо — рядом оказывается Зарьян.

Валерий Темницкий, на секунду только обернувшись назад, мгновенно оценивает обстановку и без борьбы выпускает вперед Муканова.

Гонку ведет теперь Муканов, у него «на колесе» — Темницкий; зажаты Шершневым и Зарьяном, следует за ними Сергей Мукомолов.

К главной пятерке подтягиваются Карл Томбу и Стеценко. А за Стеценко держится кто-то в красной, заляпанной грязью рубашке.

«Кто это?» — думает Шершневу и не может узнать.

«Армеец? — думает Зарьян и тоже не узнает гонщика. — Ну-ну, пусть тянется...»

Мукомолов выжидает.

Шершневу тоже выжидает.

И Зарьян выжидает.

Перед началом подъема резко увеличивает темп Стеценко.

Он обходит Шершнева, Темницкого, Муканова - "на колесе" у него Карл Томбу.

Вперед!

Мукомолов пытается встать вслед Томбу, но слева Шершнева, справа — Зарьян, впереди — Темницкий. Клеши. Шоссе мокрое. Резко накренять машину и отжимать Шершнева рискованно — занесет.

Мукомолов бледнеет от злости.

Шершнева еле заметно улыбается.

Зарьян хитровато жмурится.

Вперед уходит Стеценко, за ним — Томбу, за Томбу — красная рубашка...

Надо ли говорить, что в гору подниматься трудно? А если позади остались сорок пять отработанных километров, если ветер усилился, если мокрая пленка, подернувшая асфальт, так и норовит вынести тебя в кювет, если дождь обдает изнуряющим душем... Тогда? Тогда еще труднее.

Стеценко приподнимается на педалях. Помогает себе весом.

«Зря, — думает Томбу, — рановато, дорогой, напрасно нервничаешь».

«Через сто метров ты начнешь финишировать, — думает Стеценко, — ты обойдешь меня коротким, резким броском. Это будет красиво. Молодец, Карл. Ты действительно железный... Все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо...»

Впереди показались флаги. Впереди белеет ленточка финиша. Там люди, там оркестр, приготовившийся встретить победителя, там красный столик с Большим Золотым призом.

Томбу начинает рывок. Низко склонившись к рулю, он энергично прибавляет скорость. Стеценко тоже прибавляет. Какое-то время они идут точно рядом. Стеценко косится на Карла. Тот весь поджался, весь устремился вперед. Карл уходит. Ему вовсе не легко оторваться от Стеценко, но он уходит медленно и упорно.

«Хорошо, хорошо, — говорит себе Стеценко, усталыми гла-

зами разглядывая широкую спину Томбу, — хорошо, Карл, очень хорошо».

Он даже не сразу понимает, что происходит в следующее мгновение. Перед ним вырастает еще одна спина. Красная. Гонщик в армейской форме достает Карла. Достает в таком невероятном, в таком отчаянном броске, что у Стеценко холодеют пальцы рук.

Поздно! Этому красному дьяволу помешать уже невозможно...

«Кто это? Кто?» — думает Стеценко, хотя теперь это совершенно неважно.

Финишная лента захлестывается на красной рубашке армейца.

Следом, проиграв меньше метра, пронесется через линию финиша Томбу, с просветом в десять метров заканчивает дистанцию Стеценко. За ним пролетают прямо в руки публики Шершневу, Сергей Мукомолову, Муканову, Зарьяну...

Но все это уже не имеет никакого значения. Приз — один.

Приз получает первый. Первый — Виктор Ильиченко, представитель Центрального спортивного клуба армии.

Виктору двадцать лет. Это его первая большая победа. Он ликует. Он же ничего не знал. Его качают. Его тащат куда-то на руках. И сам Карл Августович Томбу целует его, потного, грязного и счастливого...

*Сочи — Таллин.*



Как это говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»? Вот так точно по пословице я и познакомился с доктором Златопольским. Ехал по трассе Москва - Симферополь, где-то за Харьковом высунулся из машины и тут же был наказан: какая-то гадость влетела в глаз. Глаз сразу же вздулся, заслезился, перестал видеть. Пришлось остановиться и искать врача.

Мне охотно указали на маленький аккуратный домик в вишневом садочке и пояснили:

— Вот тут наш доктор Иосиф Наумович Златопольский и проживает. Стучитесь смело, выходных у него не бывает. При-



ходи в ночь, приходи за полночь — доктор никогда не откажет.

Я постучал и сразу же услышал:

— Да-да-да! Входите! Что там у вас — пожар, жена рожает или ребенок объелся?..

Обескураженный, я остановился в передней. Посреди этой маленькой чистой комнатки сидел здоровенный одноглазый кот. Кот смотрел на меня не то сочувственно, не то подозрительно...

Откуда-то из глубины дома снова донесся докторский голос:

— Ну, и что будет дальше? Вам нравится там стоять и играть в молчанку? Я же сказал — идите сюда вместе с вашей хворобой. Что у вас?

Я сказал:

— У меня это... словом, глаз у меня, — и шагнул в комнату.

Толстый, гладко выбритый краснолицый человек лежал на диване. Он посмотрел на меня так быстро, словно выстрелил, и сказал совсем другим, нестрогим и неворчливым голосом:

— Здравствуйте. Вам тоже повезло: у вас глаз, а у меня, извините, радикулит разыгрался. Но ничего. Сейчас я вам «вправлю» ваш глазик на место, и тогда будет один — ноль в вашу пользу.

Кряхтя и охая, доктор поднялся с дивана и принялся «вправлять» мой глаз. Так мы и познакомились.

Вот вы можете мне объяснить, почему это так в жизни бывает: одному дано столько — на троих бы хватило, а другому — пшик?.. Э-э-э, на потолок смотрите. Так-так-так. Сейчас мы вытащим этого зверя... Ей-богу, вы специалист, вы крупный специалист. Комара вам было мало, по-моему, вы схватили целую ворону в глаз...

Но не в этом дело.

Вы Чехова читали?.. Любите? Очень хорошо! Так вот, я всю жизнь — а мне, между прочим, шестьдесят уже было! — завидую Антону Павловичу Чехову. Не Пушкину, не Гоголю, не Толстому, а именно Чехову...

Посмотрите, влево. Так. Теперь — вниз. Теперь — вверх. Все. Подержите эту ватку. Только не трите. Это же глаз, а не форточка!

Так почему я завидую именно Чехову?

Начнем с того, что мы с ним в некотором роде коллеги. Чехов был хорошим медиком. Это известно. Он отдавал своим пациентам не только знания и время, но, простите меня за громкое слово, он расходовал на них свою замечательную душу. И это тоже известно, это биографический факт! А вот вы думали когда-нибудь о том, сколько Чехов брал со своих больных? То-то! Я прочитал все, что написал Антон Павлович, все, включая шесть томов писем, и пришел к выводу: из пятнадцати основных томов собрания сочинений не меньше десяти списано с пациентов! Ясно?

Сидите спокойно. Вы еще успеете проверить мою работу. Я чиню с гарантией.

Так вот, я завидую Чехову. Ему было дано, дано — на троих. А мне не дано. Если б бог отпустил мне ну немного, скажем, десять процентов чеховского таланта, я бы уже написал, наверно, сорок томов. Ведь каждый день ко мне приходят люди. Вы думаете, они несут мне только свои болячки? Вы ошибаетесь. У каждого своя душа, и своя забота, и, если хотите, своя история...

Теперь уберите вату и откройте глаз. Немножко режет? Так и должно быть. Сейчас мы выпьем чаю, за это время резь пройдет. Идите на кухню, поставьте чайник, возьмите в буфете стаканы и несите сюда...

Что вы смотрите на меня с удивлением? Я же болен. Я медленно ложусь и продолжаю страдать радикулитом. Так почему пациент не может подать мне стакан чаю? Я считаю — может... Спасибо. Вы очень любезны.

Вы моего кота видели? Думаете, это обыкновенный одноглазый кот неизвестно какой породы? Ничего подобного! Тришка не просто кот, Тришка — герой ненаписанной поэмы. Ну, в

крайнем случае — повести. Вот что такое Тришка! Я говорю это совершенно серьезно.

У вас еще есть время — послушайте.

Два года назад приходит ко мне мальчик. Обыкновенный такой шустренький паренек, правда весь изодранный и исцарапанный, но это же ребенок, так что не стоит и удивляться. Я смотрю на него и для шутки спрашиваю:

— Вы, молодой человек, случайно не укротитель тигров?

Что же, вы думаете, он мне отвечает?

— Нет, я не укротитель тигров. Я, наверно, бешеный и очень прошу вас, доктор, дайте мне справку с печатью...

Он бешеный, а я пиши справку!

Но не в этом дело.

Интересно же знать, почему он бешеный, во-первых, и для чего ему справка, во-вторых! Вы согласны?

Короче говоря... Вот видите, нет у меня художественного таланта, не дано. Только начал рассказывать и сразу перехожу к обобщениям. Ничего не сделаешь, я действительно не Чехов. Короче говоря, через пятнадцать минут выясняется следующая картина.

Володя Кострикин, ученик пятого класса «Б» первой железнодорожной школы, шел после уроков домой. Около тупика он, Володя Кострикин, увидел Славку Недригайло, ученика шестого класса «А» той же школы, и Ивана Коломийцева, ученика шестого класса «Б». Последние — Славка Недригайло и Иван Коломийцев — привязали к телеграфному столбу котенка и «расстреливали» его камнями.

Володя Кострикин подошел к Славке Недригайло и выразил свое возмущение. Но Славка не только не прекратил издевательств над котенком, а обругал еще Володю Кострикина совершенно неприличными словами...

Теперь, вы меня извините, я все же попытаюсь нарисовать эту картину.

На углу заброшенного тупика стоят три человека. Два — я

имею в виду Недригайло и Коломийцева — здоровенные лоботрясы, а третий — я имею в виду Володю Кострикина — обыкновенный мальчик-шпингалет. Два здоровых парня терзают беспомощного котенка. Откуда в них взялось это остервенение против живой души — вопрос особый. В данный момент мы его не касаемся. Что может сделать третий человек, я утверждаю: добрый, порядочный, словом, совершенно нормальный мальчик? Лезть в драку? Но ему явно не сладить с двумя большими парнями. Бежать за людьми? Но два балбеса успеют доконать живую котячью душу раньше, чем Володя кого-нибудь найдет.

И тогда Володя Кострикин, ученик пятого класса «Б» первой железнодорожной школы, подступив к Славе Недригайло, ученику шестого класса «А» той же школы, неожиданно кидается на последнего и кусает его в живот.

Ивану Коломийцеву с трудом удастся оторвать Володю Кострикина от живота Славки Недригайло, При этом Володя Кострикин выкрикивает:

— Я бешеный! Я бешеный! Имейте в виду, я бешеный...

Юные кошачьи палачи впадают в панику и ретируются. Володя отвязывает котенка, который, не разобрав, кто правый, кто виноватый, отчаянно царапается, и является ко мне.

Володя требует справку с печатью. Для чего? Он собирается отнести эту справку на эпидемиологическую станцию. «И пусть им, гадам, вкачают по двадцать уколов. Будут тогда знать, фашисты, как над маленькими издеваться».

На этом, так сказать, заканчивается первая глава.

Я думаю, что чай уже вскипел. Тащите-ка его сюда. стакан чаю никогда не вредит, особенно за беседой. Тащите чай и прихватите вишневого варенья...

Вот спасибо!

А теперь слушайте вторую главу. Эта глава совсем короткая.

Мы идем с Володей к нему домой. В сарае в старом посылочном ящике ворочается и жалобно пищит изуродованный

серенький котенок. Не понимаю, какое надо иметь сердце, чтобы так отделать живую тварь! Вы знаете, я был на войне — военным врачом, я видел много страшного. Но война — другое дело, на войне всегда убивают, а тут, просто так... Ну и что с того, пусть котенок, пусть зайчонок, пусть таракан, в конце концов... без всякого смысла... Не понимаю!

Два часа я, старый дурак, вожусь с котенком: вправляю ему лапы, бинтую голову. И мне не стыдно в этом признаться — все эти два часа я чуть не плачу.

Забегу вперед: из котенка вырос мой кривой Тришка. Володя мне его подарил потом.

Но это еще не все.

Дальше начинается третья глава.

Я звоню по телефону начальнику милиции майору товарищу Старовойтову. Рассказываю всю историю и прошу у него совета. И что ж, вы думаете, я слышу? Я слышу буквально следующее:

— Дорогой Иосиф Наумович, уважаю ваши чувства, но не могу понять, чего вы от меня хотите. Привлечь мальчишек к ответственности? А по какой статье их привлекать? Понимаете, нет такой статьи. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Согласен с вами — они негодяи, мелкие паршивые негодяи, но за это не судят, за это пороть надо. Да, да. Пороть! Ремнем по заднице. Только не в милиции, а дома. Отец должен привлекать своей родительской властью. Как фамилии мальчишек? Недригаило и Коломийцев...

И тут майор товарищ Старовойтов делает длинную паузу.

— М-да! Недригаило — это плохо.

Я говорю, что это не просто плохо — это ужасно! Надо же подумать о будущем. Из такого мальчишки должен вырасти бандит, преступник...

— Не в этом смысле плохо, — перебивает меня майор товарищ Старовойтов. — Отец этого стервеца в исполкоме деятель. Приходится сталкиваться по работе. Тяжелый человек. Если до

него дойдет, у вашего Кострикина могут быть серьезные неприятности.

Мои возражения разбиваются о железный довод начальника милиции.

— Ну хорошо, Иосиф Наумович, вы во всем правы. Допустим. Но согласитесь, нападающая сторона — Кострикин. Подумайте, если завтра все мальчишки начнут кусаться на улицах... Вот то-то!

И следующая глава.

Мне, конечно, больше всех надо! Я иду в исполком. В конце концов, не могу же я бросить дело на половине. Что значит Недригайло-старший — деятель?! Нет, серьезно. Деятели — тем лучше. Должен иметь голову, раз деятель. Всё. Иду к нему.

Ну что вам сказать... Когда я рассказал ему всю историю от начала до конца, он страшно разозлился:

— Распустили! Безобразия! На улице людей кусают!

Он еще долго кричал, но я не вмешивался. Я знаю, если человек по складу своего характера сангвиник, ему надо дать выпустить пар. Когда он успокоится, тогда можно разговаривать.

Так вот, когда Недригайло-старший выпустил весь запас пара, он спросил совершенно нормальным голосом:

— А мальчишка-то на самом деле не опасный, то есть не бешеный?

— Кострикин не опасный. За это я вам, как врач, ручаюсь. Опасный ваш сын, Недригайло Слава. Сегодня он устроил расстрел котенка, а вы знаете, что он будет делать завтра? Вы можете сказать, что котенок — мелкий, случайный факт, тогда я спрошу вас: а какой крупный садист начинал сразу с больших акций? Не трудитесь вспоминать — таких не было! И подумайте еще об одном, товарищ Недригайло. Если этот факт, пусть мелкий и незначительный, станет достоянием общественного мнения, люди осудят не Кострикина, попадет вашему сыну и, вероятно, вам тоже, рикошетом.

— Что ж, по-вашему, надо делать, доктор?

— Во-первых, вы, отец, должны выпороть вашего стервеца, хорошенько выпороть, чтобы три дня сидеть не мог; во-вторых, после этого надо, видимо, его воспитывать. Впрочем, я врач, а не представитель власти. Посоветуйтесь с майором товарищем Старовойтовым, он человек опытный...

Ну, а теперь я должен вам сообщить эпилог всей этой истории.

В прошлое воскресенье Володя Кострикин занял на областных соревнованиях по борьбе первое место среди мальчиков.

Почему вы делаете такие круглые глаза, чем вы удивлены? По-моему, все закономерно, все в жизни взаимосвязано. Абсолютно все.

В тот день, когда искалеченный Тришка пришел в себя, Володя мне вдруг заявил:

— Вы знаете, Иосиф Наумович, я решил тренироваться. Я хочу стать самым сильным из всех ребят. Я буду бить этих гадов, которые не понимают слов. Что, они лучше фашистов?..

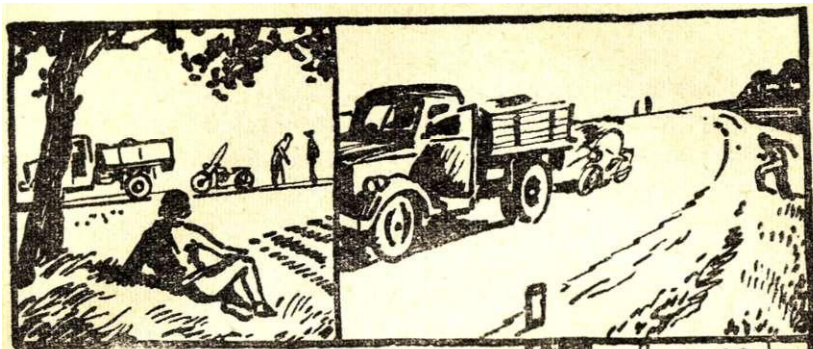
Вообще, я против насилия, я сторонник разума, внушения, психотерапии — все это так, но в данном конкретном случае как я мог сказать мальчику «нет»?

Не мог. Я сказал «да». И не жалею.

Теперь вы понимаете, почему я завидую Чехову? Он бы написал обо всем этом так, как надо. И люди читали бы и плакали и учились... А мне не дано. И тут уж, видно, ничего не сделать. Можно только пожалеть.

Ну вот, и глаз ваш прошел, и чайку попили. Случится еще раз в наших краях побывать, милости прошу — заходите, можно без мухи в глаз, можно просто так. Буду рад...

*Белгород.*



*„Спокойно, герой!“*

Не жалея себя это самая гордая, самая красивая мудрость на земле.

М. Горький

Все было безнадежно плохо в этот день.

Утром, собираясь на работу, отец без лишних слов заявил:

— Если ты еще раз полезешь в телевизор, Сенька, — держись! Выпорю. Не посмотрю, что под самый потолок вымахал. Честное слово, выпорю, и никаких разговоров.

Сенька обиделся, но промолчал. «Выпорю»... А за что? Ну что он плохого сделал? Припаял проводничок антенны? Так проводник действительно еле держался. Конечно, Сенька зацепил паяльником за тюлевую занавеску и чуточку подпалил каких-то два узора, но, во-первых, при чем здесь телевизор, и, во-вторых, он же не нарочно зацепил?..





И старший брат тоже пообещал — совсем уж неизвестно за что:

— Если еще раз подойдешь к мотоциклу без спроса — голову оторву. Мало тебе прошлый раз было? Еще будет!

Как машину мыть, так Сенечка, пожалуйста. Как ему канистру держать, насос качать, за сигаретами бегать — так все Сенька. А тут всего-то два кружочка по двору проехал, и сразу голову рвать...

И Тина, тихая маленькая Тина, самая лучшая девчонка на земле, будто сговорилась со всеми (эх, для чего только он под ее окнами на мотоцикле крутился!):

— Если ты, Сеня, не перестанешь меня у крыльца каралить, я совсем не буду на улицу выходить. И так все смеются...

Сеньке было очень жаль себя. Почему-то так всегда получалось — он хотел сделать лучше, помочь людям, принести пользу, а все считали, что Сенька умеет только ломать, корчить, портить. «Ну и пусть, — думал Сенька, — не хотят — не надо. Проживу без их «спасибо».

Обиженный на весь свет, он ушел из дому.

Сенька любил сидеть на обочине шоссе, смотреть на пепельно-серую ленту дороги, слушать, как мимо него со свистом проносятся машины. Куда они спешат? Какие важные дела у них? Что ждет их там, впереди?..

На краю дороги хорошо придумывались всякие удивительные истории. А Сенька, заметьте, был великим выдумщиком!

Вот сверкнула хромировкой и исчезла за поворотом голубая «Волга». Ну что он успел заметить? Распластанного над капотом оленя, молодого вихрастого водителя за рулем и белую занавеску на заднем стекле? Все. Но этого было уже достаточно, чтобы сочинить целую повесть. Обыкновенная «Волга» превращалась в оперативную машину. Конечно, машина не просто ехала, а летела, и непременно не куда-нибудь, а к границе. Там предстояло задержать важных преступников...

Сенька любил утреннюю дорогу.

Прямая, словно выстреленная из гигантского лука, дорога-стрела прорезала темный лес и уходила к самому горизонту. Утром дорога дремала. Над обочинами бродили ласковые голубоватые туманы. И звук проносившихся машин был особенный — приглушенный, мягкий.

Сенька любил дневную дорогу. Днем дорога казалась не такой широкой — ее стискивал упругий, густой поток машин. Временами казалось, что асфальт стонет под тяжестью надрывно всхлипывающих на подъеме дизелей. Без конца неслись и неслись вперед самосвалы со щебенкой, гравием, светло-желтым песком; громыхали железным листом металловозы; степенно ползли тралеры с причудливыми бетонными конструкциями на низких многоколесных платформах.

Глядя на эту рабочую, деловитую дорогу, ничего не стоило сочинить повесть о стройке. Где-то там, впереди, люди возводили плотину. Вода прибывала, грозя затопить, смести все. Судьба плотины, города, всей области — в руках шоферов: успеют или не успеют подать бетон... Сенька придумывал: срочно нужны двадцать машин. Считал и волновался, когда пролетавшие мимо самосвалы везли вместо бетона дрова, сено, опилки...

Сенька любил вечернюю дорогу. В фиолетовых сумерках машины исчезали с проезжего полотна дороги. Над шоссе жили только огни. Они дробились, мигали, отскакивали в сторону и снова наступали. Бесконечными вереницами извивались, плыли красные светлячки. Дорога к ночи становилась таинственной. Дразнила нераскрытыми далями, звала в неведомое.

Дорога была Сенькиной любовью, его тайной, его лучшим другом. Около дороги великий выдумщик Сенька вдохновлялся. Во все остальное время он был самым обыкновенным парнишкой — как все учился, как все бедокурил, как все мог часами, до потери сознания, гонять футбольный мяч.

Обиженный Сенька уселся на обочине. Слева — старый морщинистый дуб, справа и чуть позади — мачта высоковольтной передачи. Здесь был его лучший наблюдательный пункт —

командная высота. Напротив дуба шоссе переламывалось и длинным покатым спуском уходило вниз, в город.

Сенька стал смотреть на дорогу, и все утренние огорчения тут же забылись.

Вот на самом гребне шоссе остановился тяжелый грузовик. Открылась дверка, на подножку шагнул шофер. Высокий парень в выцветшей, заправленной в брюки гимнастерке оглянулся назад. Он ждал кого-то.

Так. Ясно, кого он ждал. Около машины с писком затормозил голубой милицейский мотоцикл.

Шофер сошел на теплый асфальт.

Грузовик недовольно пофыркивал.

Старшина-инспектор проворно соскочил с седла и, вежливо козырнув, что-то сказал водителю.

Мотоцикл приглушенно стрекотал.

Сенька не слышал слов, и ему казалось, что он смотрит немой фильм.

Милиционер резко взмахнул рукой и показал куда-то вдаль.

Шофер отрицательно покачал головой и сделал несколько шагов по шоссе. Назад — в ту сторону, откуда он ехал.

Инспектор, энергично жестикулируя, пошел рядом. Потом оба остановились. Старшина протянул руку. «Так. Ясно — требует права, — подумал Сенька. — Интересно, чем все кончится».

Шофер снова отрицательно покачал головой и не полез в карман за документами. Он настойчиво куда-то тянул милиционера. «Эх, зря спорит! Разве инспектору можно что-нибудь доказать?»

Шофер и старшина вступили, видимо, в основательную перепалку — оба размахивали руками, что-то выкрикивали, пригибались к самому асфальту (наверно, разглядывали тормозной след), отбегали к обочине...

Сенька был не только великим выдумщиком, но и самым любопытным человеком на земном шаре. Оставаться отдален-

ным свидетелем таких волнующих событий он не мог. Сенька должен был все услышать собственными ушами.

Он поднялся со своего командного пункта, подтянул вечно сползавшие тренировочные брюки и вдруг почувствовал — именно почувствовал, а не увидел, — на шоссе что-то случилось. Грузовик больше не фыркал.

Сенька повернул голову в сторону машины и онемел — грузовика на прежнем месте не было. Большой, неуклюжий, он медленно катился под гору. А те двое на шоссе — водитель и инспектор — ничего не замечая, продолжали спорить и размахивать руками.

Потом Сенька со всеми подробностями не раз рассказывал, и о чем он подумал в первый момент, и как решил, и что себе представил, но все это было потом. А сейчас ноги сами вынесли его на шоссе. В голове отчаянно билась только одна мысль: «Не поставил на тормоз, на тормоз не поставил...»

Сенька вскочил на голубой мотоцикл, выжал сцепление, включил скорость, рванул на себя рукоятку газа и чуть не вылетел из седла. Мотоцикл взвыл, подпрыгнул и как безумный дернулся вперед. Сенька с трудом удержал машину в руках и почему-то со злорадством подумал: «И не подойду к твоему несчастному «ижику», целуйся с ним, вот — машина!» Слова были адресованы брату. Потом он их обязательно скажет.

Сорвавшийся с места грузовик успел набрать скорость на спуске и, опасно вихляясь из стороны в сторону, летел вниз. Не закрытая шофером дверка хлопала на ходу.

Сенька чуточку освоился с инспекторской машиной. Она была чертовски тяжелая, не по мальчишеским рукам. Сенька вспотел, у него пересохло во рту, но отступить было некуда, и он все увереннее прибавлял газ.

Грузовик приближался.

«А дальше как?»

План у Сеньки возник неожиданно. Это был отчаянный план, но ничего другого он придумать не мог. «Подойду к ма-

шине вплотную, — решил Сенька, — перескочу на шоферскую подножку и остановлю грузовик. Жалко бросать мотоцикл — разобьется такой зверь, — но что делать...»

По склону подымалась встречная машина. Сенька увидел ее издали и понял: если он не успеет немедленно догнать грузовик, если он сейчас же не остановит его — всё. Несчастье, катастрофа, смерть обрушится на дорогу.

Сенька подвел мотоцикл к самому борту грузовика, осторожно сравнял скорость.

Дверка угрожающе моталась перед самым Сенькиным носом. Надо было очень точно определить момент, когда дверка пойдет вперед, осторожно прибавить скорость и прижать дверку защитным козырьком мотоцикла. «Промажусь — убьет», — подумал Сенька.

И тут он снова уже совсем близко увидел встречную машину. Ничего не понимавший шофер высунулся из кабины и грозил ему кулаком.

Дверка пошла вперед.

Коротким рывком Сенька прибавил газ. Он почувствовал легкий толчок и краешком глаза увидел, как согнулся кронштейн мотоциклетного козырька. «Если обломится, дверка шибет башку...»

Он глянул вправо. Руль грузовика вздрагивал над самой головой.

Вот она, черная большая баранка.

«Ну!» — приказал себе Сенька и почувствовал, как руки намертво вцепились в рога мотоцикла. Spина стала шершавой, как напильник.

Он еще раз покосился на козырек — кронштейн прогнулся еще больше. «Сейчас треснет...»

В этот момент он услышал пронзительный рев.

Сенька не понял, что это сигналил шофер встречной машины. Но резкий, неприятный звук подстегнул его. Сенька прицелился и, отпустив теплый влажный руль мотоцикла, рванулся

всем телом вверх, к черной вздрагивающей баранке грузовика.

Ноги толкнулись обо что-то мягкое. Наверное, о седло мотоцикла. Сеньку больно ударило по плечу, — дверка все-таки догнала его. Но теперь он уже не боялся дверки. Туловищем успел коснуться шоферского сиденья. Мокрый, задыхающийся, сел он за руль и что было силы нажал на тормозную педаль. Сенька не рассчитал: тормознул слишком резко — его швырнуло вперед, крепко ударило грудью о баранку. Но грузовик сразу же потерял скорость.

Сенька слегка вывернул тяжелый руль вправо, вывел грузовик на обочину, еще тормознул, на этот раз осторожней, и, поняв, что все удалось — машина остановлена, — боком повалился на сиденье.

Когда он пришел в себя и чуточку отдышался, осторожно сполз на дорогу.

Асфальт был мягкий. Сенька почувствовал его ласковое тепло сквозь тонкие подошвы резиновых тапочек. Дорога почему-то немножко покачивалась. Болела грудь. Сенька присел на обочину — ого начало рвать.

Сбежались люди, окружили. Все говорили, шумели. Но Сенька не понимал слов. Ему было стыдно — рвота долго не прекращалась.

Какой-то седой майор обнял Сеньку за плечи и сказал в самое ухо:

— Спокойно, герой! Держись!

Это были первые слова, которые дошли до Сенькиного сознания. Но он почему-то не обрадовался, а постыдно заревел. Спасибо майору, тот прикрыл его своими широкими плечами и громко крикнул собравшимся:

— Ну, чего уставились? Дайте человеку прийти в себя!

Понемногу Сенька успокоился.

И тогда все стали жать ему руки, а шофер спасенного грузовика целовал его, как маленького. И даже старшина-инспек-

тор улыбался — он оказался совсем не плохим человеком - и обещал представить Сеньку к награде.

— Герой, ну герой! — повторял седой майор и тоже не отходил от Сеньки.

У Сеньки уже заболела ладонь от рукопожатий, он снова и снова говорил какие-то слова благодарности, а в голове у него все прыгала и прыгала такая неожиданная и такая странная мысль: «Герой! Оказывается, это очень страшно — быть героем».

*Москва — Ялта.*

## СОДЕРЖАНИЕ

Кем я был и кем — не был.....	3
Совість . . . . .	22
Земля Цезаря . . . . .	36
Задание номер девять . . . . .	48
Мой враг — Федька . . . . .	58
Миллионер Цинцибадзе . . . . .	76
Наш муж . . . . .	87
«Счастливого вам пути!».....	105
Дорога . . . . .	116
Космонавт .. . . .	130
Шерлок Холмс . . . . .	139
Пловец . . . . .	149
Автоматчик . . . . .	157
Крокодил . . . . .	162
523 письма . . . . .	168
Лучшая речь . . . . .	179
«Нельсон тоже...» . . . . .	187
18.00-19.00 . . . . .	193
Честный бой . . . . .	199
Фитин . . . . .	207
Приз Карла Томбу . . . . .	214
Бешеный . . . . .	223
«Спокойно, герой!» . . . . .	231



**К ЧИТАТЕЛЯМ**

*Отзывы об этой книге просим  
присылать по адресу: Москва, А-47,  
ул. Горького, 43. Дом детской книги.*

**Для среднего и старшего возраста**

*Маркуша Анатолий Маркович*

**ДОРОГЕ НЕТ КОНЦА**

Рассказы

Ответственный редактор И. В. Пахомова. Художественный редактор Н. Г. Холодовская. Технический редактор М. Я. Басс. Корректоры С. А. Боровская и С. А. Ведешина. Сдано в набор 17/IV 1963 г. Подписано к печати 15/VIII 1963 г. Формат 60X84 15 печ. л. 13,695 усл. л. (11,29 уч.-изд. л.). Тираж 65 000 ТП 1963. № 345.

Цена 44 коп.

Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Сушевский вал, 49. Заказ 4740.